



И.И. Панаев

*Сочинения*



# Иван Иванович Панаев

## Белая горячка

*Текст предоставлен правообладателем:  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=659995](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=659995)*

### Аннотация

«Несколько лет назад, – и может быть, некоторые из читателей моих вспомнят об этом, – на выставке Академии художеств обратили на себя всеобщее внимание две картины: одна изображала Ревекку у колодца, другая какую-то девушку в белом платье, очень задумчиво и чрезвычайно поэтически сидевшую на крутом берегу какой-то реки, в ту самую минуту, когда вечерняя заря уже потухла и вечерние пары, медленно поднимаясь от земли, покрывали и горы, и лес, и луга, и воду синеватою дымкою...»

# Содержание

I	4
II	16
III	25
IV	33
V	43
VI	50
VII	58
VIII	71
IX	80
X	87
XI	100
XII	114
XIII	125
XIV	129
XV	136
XVI	140
XVII	144

# Иван Иванович Панаев

## Белая горячка

### Повесть

*"– Повесть! В этих повестях все такие сатиры и ничего нет правдоподобного. Даже, поверите ли, иной раз обидно читать.*

*– Да, они – эти сочинители, не умеют совсем списывать с натуры; все они пишут точно в белой горячке.*

*– Можно, я вам скажу, и с натуры списывать, но так, чтоб не было обидно и чтобы нельзя было принять на свой счет".*

*(Разговор в гостиной 2-жи Г\*)*

*« С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат?..»*

*(Лермонтов)*

## I

Несколько лет назад, – и может быть, некоторые из читателей моих вспомнят об этом, – на выставке Академии художеств обратили на себя всеобщее внимание две картины: одна изображала Ревекку у колодца, другая какую-то девушку в белом платье, очень задумчиво и чрезвычайно поэтиче-

ски сидевшую на крутом берегу какой-то реки, в ту самую минуту, когда вечерняя заря уже потухла и вечерние пары, медленно поднимаясь от земли, покрывали и горы, и лес, и луга, и воду синеватою дымкою. Правда, многие находили, что в лице Ревекки и в лице этой задумчивой девушки одни и те же черты, одно и то же выражение, и приписывали такое странное сходство недостатку творчества в художнике. Но, несмотря на это, всякий день, во все продолжение выставки, около этих картин была давка. Перед этими картинами останавливались – и чиновница в кожаных ботинках со скрипом, и нарумяненная барыня в шляпке с перьями, с удивительными и восклицательными междометиями, и дама большого света, никогда ничему не удивляющаяся, и канцелярский чиновник в черной атласной манишке со складочками, и его редковолосый начальник со Станиславом, развешенным на груди, и fashionable лорнетом в глазе, и конно-артиллерийский армейский офицер ужасающего роста в очках, и маленький инженер, рассуждающий о науках и танцующий по воскресеньям на вечеринках у статских и других советников, и кавалерист, военный денди – неперменное лицо на всех балах и раутах, и вертлявая горничная с Английской набережной, в шляпке, с затянутой талией, воспитанная в магазине г-жи Сихлер, и толстая девка от Знаменья, недавно привезенная из деревни. У этих двух картин толпились все эти лица, фигуры и фигурки, которые вы, я и все мы ежедневно встречаем на Невском проспекте, на этой вечной

петербургской выставке.

Отчего же эти две картины привлекли такое лестное, одобрителное внимание целого народонаселения Петербурга? Принадлежали ли они к тем эффектным произведениям живописи, которые невольно поражают с первого взгляда и не знатоков? Была ли это дань удивлению и восторгу истинно-художественным произведениям?

Картины точно были эффектны, и эта эффектность происходила от оригинальности их освещения; к тому же выпуклость фигур, казалось, выходявших из полотна, резко бросалась в глаза всякому, а свежесть зелени, на которую художник, видно, не пощадил краски, приводила большинство в невыразимый восторг. Такие достоинства должны были не шутя выдвинуть эти картины на первый план. Пройдя несколько зал, установленных портретами, ландшафтами, снятыми с довольно плоской и незатейливой местности, да историческими картинами, в которых фигуры группировались с симметричною точностью, словно размеренные по циркулю, и вместе с тем отличались безукоризненными академическими позами, – и бегло обозрев все эти произведения, зритель чувствовал, что в голове его делался престрашный хаос, в глазах у него рябило, а ноги подгибались от усталости... Наконец, запыхавшись, о блаженство! он достигал до последней залы; чтобы перевести дух, садился на окно, и вдруг, вовсе неожиданно, поражала его зрение чудная еврейка, красавица, грациозно стоявшая у колодца, на кото-

рую, право, можно было заглядеться и после великолепной картины Горация Вернета... Утомленное внимание зрителя при взгляде на еврейку возбуждалось снова, и он с участием подходил к картине, чтобы хорошенько рассмотреть ее. А рядом с еврейкою – другая картина, девушка на берегу реки в сумраке вечера... Стоило взглядеться в эту картину: в ней открывалось столько таинственного и бесконечного...

Однако не без основания можно положить, что успех этих обеих картин объяснялся еще тем, что они стояли в зале перед самым выходом. Последнее впечатление, каково бы оно ни было, всегда сильнее первого, и память, растерявшаяся во множестве пестрых явлений, мелькавших перед глазами, не сохранившая ни одного штриха, ни одной черты, ни одного образа, радехонька ухватиться за последний предмет, особенно если этот предмет поразил не одни глаза, а хоть сколько-нибудь подействовал на душу. Странное дело! память никогда не верит одним глазам!.. Надобно при этом взять в расчет и то, что прогулка по залам должна была возбудить аппетит у каждого, а от этих двух последних картин сейчас можно было перейти к завтраку или к обеду.

Таким точно образом, после прогулки на выставке, за превосходным завтраком, который был состряпан истинно художнически, при четвертой бутылке шампанского, несколько известных любителей и покровителей искусств решили, что живописец, написавший Ревекку и Девушку на берегу реки, должен быть талант необыкновенный. Эти господа,

светские любители и покровители, пользовавшиеся самую блестящую славою в петербургском большом свете, прожившие много лет и много тысяч в чужих краях, вывезшие отсюда великолепные альбомы, сами сделавшие несколько эскизов карандашом и претендовавшие на звание почетных членов Академии художеств, объявили во всеуслышание о новом открытом ими таланте. «Талант! А-а! в самом деле талант? – заговорили дамы. – Кто он?» «Ах, боже мой, что за восхитительные картины... этакая прелесть! Как же живо и натурально, ах, ах! – кричали барыни. – Да что он? да где он?..»

«Торжествуйте, г. живописец! счастье обратилось к вам своим лицом и улыбается вам; вы восстаете из мрака неизвестности и выходите на свет божий, а это очень приятно!» – думал я, ходя по залам выставки, останавливаясь порой перед этими двумя картинами, так понравившимися публике, и прислушиваясь к суждениям знатоков и любителей об искусстве вообще и об этих картинах в особенности. Такого рода занятие мне очень понравилось: бывало, только что встану и напьюсь чаю, сейчас же на выставку, и не замечу, как пройдет утро.

Всего более я любил гулять в больших залах, установленных портретами... Сначала, правда, мне показалось странно, каким образом более или менее удачные копии с более или менее известных физиономий удостоились чести быть на выставке художественных произведений? Какое до них дело искусству?.. Но впоследствии я оставил в стороне эти вопросы



и с большим любопытством и наслаждением принялся рассматривать выставленные физиономии.

Однажды, когда я стоял перед портретом одного из тех красавцев, которые восхищают барынь и которых они обыкновенно называют бель-омами, и любовался его победоносными глазами и цепочкой с супиром, мне пришла в голову мысль, что, должно быть, удивительно весело родиться на свет красавцем и вырасти на славу себе, на украшение мира и на утешение барынь.

– Осип Ильич! слышишь, Осип Ильич! – вдруг раздался женский довольно решительный голос возле моего правого уха, – посмотри сюда, вот на этот портрет... Да куда ты смотришь? Налево... ну, вот. Уж красота, можно сказать, что красота! да и цепочка какая дорогая! должен быть миллионер!

– Славная цепочка! – возразил мужской нерешительный голос, – и с каким вкусом жилетка... Заметьте жилетку, Аграфена Петровна...

Я обернулся, чтобы посмотреть, кто делал эти остроумные замечания, и увидел подле себя толстую и низенькую женщину в чепце, в персидском платке, с кожаным ридикюлем, и ее кавалера, также небольшого роста, седенького, в вицмундире.

Эта барыня продолжала, обращаясь к своему кавалеру:

– Что, Осип Ильич, ведь работа-то почище Алексахенькиной? бархатец на жилетке какво сделан?

– Бесподобно, бесподобно! нечего говорить! Однако слышал я большие похвалы и его картинам, и слышал от людей солидных.

– Не верится что-то; да где же они, мы еще до сих пор их и не видали?

– Видно, подальше, в других залах. Пойдемте.

И они отправились далее. Я вслед за ними. Что это за Алексашенька? Мне также захотелось посмотреть его картины...

Я проходил залу за залой и должен был беспрестанно останавливаться перед различными картинами, выслушивать критические рассуждения барыни о достоинствах и недостатках этих картин и подобострастные, осторожные замечания ее кавалера. Мне уж стала надоедать прогулка за этими господами; барыня также начала изъяслять громогласно свое нетерпение, не видя Алексашенькиных картин, и явно сердилась на своего спутника... «Ну, да где же его-то картины? – вскрикивала она. – Видно, тебя обманули: их совсем нет, да куда ему и соваться с своей работой...»

Наконец мы достигли до последней залы. В этой зале, как и во все продолжение выставки, была страшная теснота. Барыня с ридикюлем отвалено продиралась сквозь толпу, кавалер ее следовал за нею, а я за кавалером. Она впереди всех остановилась перед «Ревеккою», почти у самой рамы, и посмотрела вниз на бумажку с надписью. На этой бумажке было написано большими буквами: Г. Срезневского. Барыня

прочла надпись и замахала рукой своему кавалеру: «Сюда, сюда, поближе! ну, да пробирайся же!» Кавалер с большими усилиями подошел к ней. Я остановился немного в стороне, так, что мог их видеть и слышать их разговор. Минуты три пристально разглядывали он и она эту картину; потом она обернулась к нему, на лице ее заметно было волнение; и он обернулся к ней; его желтое и сморщенное личико остолбенело, в его мутных глазках и выразилось что-то похожее на недоумение...

Она воскликнула: «Осип Ильич?»

Он прошептал: «Аграфена Петровна?»

Она указала пальцем на Ревекку:

– Ведь это покойница? Он покачал головой:

– Покойница.

– Каков, сударь, Алексашенька-то? Он все покачивал головой:

– Да, да, да! две капли воды.

Так вот кто Алексашенька! Я стал еще внимательнее прислушиваться к этому странному разговору, но в эту минуту толстый и высокий господин с лысиной очутился возле Аграфены Петровны.

– Аграфена Петровна, Осип Ильич! – воскликнул он басом, немного в нос...

– Семен Федорыч! приятная встреча.

– Что, как вам нравятся картины? Есть, я вам скажу, дорогие, просто дорогие, но лучше всех вот эти две, они одним

живописцем написаны. Прелесть, просто прелесть! Кисть такая мягкая, так все соблюдено; видно, что списывал с натуры...

– И, батюшка Семен Федорыч! да что в них особенно хорошего? Я и живописца этого знаю; такой дрянненький... Разве и другая-то его же картина?

– Его, – а славная вещь, просто славная!

Аграфена Петровна начала рассматривать «Девушку на берегу реки» и чрез минуту, указав на нее пальцем, закричала:

– Осип Ильич, знаешь ли что? Ведь и это покойница.

– Хм! – произнес Осип Ильич, – покойница! только та, – он указал на «Ревекку», – больше похожа на покойницу.

– Все единственно...

– Какая покойница? – с удивлением спросил господин с лысиной и, посмотрев вниз на Осипа Ильича, продолжал: – Не хотите ли табачку? у меня отличный, просто отличный табак-рапе.

Он вынул из бокового кармана табакерку золотую с эмалью.

– Разве я не рассказывала вам этой истории?.. Ах, Семен Федорыч, какая у вас табакерка!... дорога, я думаю?

– Да, ценная вещичка; эмаль какая, посмотрите: тончайшая отделка, просто тончайшая. Я купил ее на аукционе, она принадлежала князю Л.; у меня их и не одна, правду сказать; я собираю коллекцию.

– Весело носить такую табакерку! – вздыхая, промолвила Аграфена Петровна.

– А про какую это историю вы говорите?.. Какая покойница? Тут на картинах нет никакой покойницы.

– Ах, батюшка Семен Федорыч! все мы смертные: придет и наш час. И ее уж нет, сердечной. Вот больше двух лет, как умерла.

– Да про кого это вы рассказываете, Аграфена Петровна?

– Про дочку нашего генерала. Славная была девушка, умница, обо всем знала. Бывало, как сидишь с ней, чего она не порасскажет... да, видно, лукавый попутал: сбилась, совсем-таки сбилась, ни за что пропала!.. Уж он за нее на том свете поплатится.

– То есть кто он?

– Да вот этот живописишка. Ведь хотя он мне и родственник причитается, да бог с ним, я давно на него и рукой махнула и знать не хочу. Пропадай он совсем! Как лукавый-то попутал ее, она и влюбилась в него...

Осип Ильич в продолжение этого рассказа боязливо озирался вокруг, чтобы кто – нибудь не подслушал речей Аграфены Петровны.

– Влюбилась! Знаем мы эту любвишку, была и я молодая, все мы были молоды, да спасибо родителям: дурь из головы как раз выколачивали. Вот видите ли, тогда жива была старушка, его мать; с полгода назад она умерла. Бог-таки наказал его!.. Жили они в бедности: сами знаете, в этом зва-

нии скоро ли наживешь копейку! А она, Софья-то Николаевна, дочка-то генеральская, под видом добродетели и ходила всякий день навещать старушку, – вишь хитрость какая! Тут они и сошлись покороче, а он и списал с нее эти портреты, и ведь потрафил, просто как на живую смотришь, да еще и теперь не посовестился выставить в публичное место, – бесовская душа!.. Я провела тогда об их шашнях, все и порассказала генеральше, – она так и ахнула! Что же, батюшка Семен Федорыч? все поздно было: Софья-то Николаевна вскоре и отдала богу душу.

– Ах, какая история! – воскликнул господин с лысиной. – Чего не бывает, подумаешь, на свете!

В эту минуту чья-то рука опустилась на мое плечо. Я посмотрел назад: то был мой старый приятель и товарищ.

– Хочешь познакомиться с Средневским?

«Как нельзя кстати», – подумал я. – Разумеется, хочу.

– Пойдем же со мной.

Живописец, эпизод из жизни которого – верный или неверный – я так нечаянно выслушал, стоял в соседней зале в амбразуре окна и благоговейно внимал рассказам длинного человека в предлинном сюртуке. Подходя к окну, я слышал только несколько слов, дидакторски произнесенных:

– Художник! великое слово... В этом слове вся эссенция человеческой мудрости. Страшно шутить этим словом. Вот, посмотри хоть бы эту картину – хорошо, а нет этого, – и длинный человек сжал пальцы правой руки и выставил эту

руку вперед, вероятно, чтобы яснее показать, чего нет и что такое – это.

Я познакомился с Средневским. Он застенчиво поклонился мне и, заговорив со мной, покраснелся... Лицо его было довольно полно, черты неправильны, но приятны, белокурые волосы его вились от природы. Его черный сюртук был довольно поношен и, казалось, сшит не по нем, а куплен готовый; он держал в руке шляпу, порыжелую и истертую, и смотрел на длинного человека, как ученик смотрит на учителя.

Длинный человек продолжал:

– Ты талант, торжественно тебе объявляю – и публика уже оценила твои картины. Твой успех несомненен. Иди смело вперед. Ты будешь ближе всех к Доминикино, а Доминикино великий мастер. Дай бог только быть тебе счастливее его в жизни.

И длинный человек, проговоря это, взял руку молодого живописца и многозначительно пожал ее.

Живописец покраснел до ушей и несвязно лепетал что-то, повертывая в руке свою истертую и порыжелую шляпу.

## II

Во время оно я посещал литературные общества. Вы, невинный читатель мой, верно, не подозреваете, что у нас в России это самые приятнейшие из всех обществ. Соберутся шесть или семь человек стихотворцев и прозаиков; несколько любителей, офицеров и статских, в том числе один или два артиста. Офицеры – по большей части пехотные и морские, особенно морские: они невообразимые охотники до литературы. Статские все в очках, глубокомысленной наружности. Комната не слишком большая, не слишком маленькая. Все эти господа пускают изо рта страшные тучи дыма и пьют чай в стаканах с лимоном. Литераторы первого разряда и статские в очках курят сигареты, литераторы второго разряда и пехотные офицеры – жуковский табак... Облака дыма носятся по комнате и застилают две лампы, без того довольно тускло горящие. Все физиономии в тумане; дым придает этой картине что-то неопределенное и до слез щиплет глаза. Разговоры чудо как занимательны:

– Тебя разругали в таком-то журнале.

– Да и черт знает за что, братец! Я ничего его не сделал.

Он задирает первый.

– А тебя расхвалили?

– Ты счастлив, тебя вечно гладят по головке!

– Твои последние стихи – прелесть, братец!



– Ваша повесть мне очень понравилась.

– По двести рублей за лист. – Сколько мы вчера пили!

– Скажите, кого выставили вы в вашей повести? – Никого; это лица вымышленные. – Неужели? а я думал, что вы с кого-нибудь списали... – Я придерживаюсь напитков слабых, как-то мадеры, портвейна...

В таких разнообразных и поучительных разговорах время проходит незаметно; посмотришь на часы – и уж далеко-далеко за полночь.

И вот, в один прекрасный вечер, недели три после закрытия выставки, я попал в такое сборище. Там между прочими нашел я и нового знакомого моего, живописца. Он, несмотря на огромный успех своих картин, о которых говорили и кричали повсюду, сидел еще скромно в уголку и смиренно покуривал вакштаф из длинного деревянного чубука.

Я подсел к нему.

Он протянул мне руку очень искренно и дружески, будто век был знаком со мной.

– Я все собирался к вам в мастерскую. Ваши картины, которые были на выставке, еще у вас...

– Да, они еще у меня, – отвечал он, посмотрев на меня, – многие желают приобрести их и дают мне такую цену, которой они вовсе не стоят, но мне жаль расстаться с ними.

«Это очень понятно, и мне более, чем кому-нибудь», – подумал я. Я вспомнил невольно рассказ барыни о генеральской дочке, подслушанный мною на выставке. Мне хотелось

узнать, до какой степени этот рассказ вероятен.

– Не покажется ли вам странным и нескромным мое замечание? – начал я эту истертую фразу. – Меня, и, впрочем, не одного меня, поразило сходство лица вашей «Ревекки» с лицом девушки на другой картине. – И, сказав это, я пристально посмотрел на него.

Он вспыхнул и смешался.

– Да, это правда, это большой недостаток... Это... – И он не мог ничего сказать более.

– «Э-ге! да, видно, барыня-то не совсем солгала...» – Его смущение мне, однако, очень понравилось. Он, кажется, еще слишком молод и, по-видимому, жил в большой бедности. Что же? это ничего: года через два разбогатеет да пооботрется в обществе, понасмотрится и поприслушается, а там и перестанет краснеть... Не вечно же кутаться и прятаться в детских пеленках; право, чем скорей, тем лучше сбросить с себя все эти забавные украшения и сойтись лицом к лицу с действительностью...

– Так вы решительно не хотите расставаться с вашими картинами?

– Может быть, я нехотя должен буду расстаться с ними. Не знаете ли вы князя Б\*?

– Нет, не знаю.

– Он приехал сюда на время, а живет постоянно в Москве... Князь так добр и так расположен ко мне: он раза два или три в неделю посещает мою бедную мастерскую и

непременно хочет иметь мои картины, – а ему, которому я, в короткое время знакомства, обязан многим, ему отказать мне совестно...

В эту минуту один из морских офицеров подошел к художнику.

– Чем изволите заниматься теперь? – спросил он его.

– Оканчиваю два портрета.

– Чьи-с?

– Генерал-адъютанта Ф\* и графини К\*.

«Прекрасно! – подумал я, – в добрый час! он начал славно». Я еще что-то хотел подумать, но вдруг в передней раздался звонок с такою силою, что многие вздрогнули. Дверь отворилась, и в комнату вошел мерными шагами тот длинный человек, которого я видел на выставке. Бегло взглянув на всех и еще не кланяясь никому, он подошел к молодому художнику.

– Очень рад, что нашел тебя здесь. Мы только сейчас говорили о тебе в большом обществе, где были почти все дамы. Ты их с ума свел своими картинами. У дам тонкий, эстетический вкус. Я восторгу дам верю более, нежели рассуждению иного ученого критика. Да!..

Произнеся это, длинный человек обратился ко всем. – Здравствуйте, господа! – Здравствуй, душа моя! здоров ли ты? – Здравствуйте! – раздавалось со всех сторон, и все подходило к длинному человеку и протягивали ему руки, и он всем приветливо улыбался. Три офицера и один статский

молча поклонились ему. Четвертый офицер подошел к статскому в очках и, толкнув его под бок, таинственно шепнул ему, указывая глазами на длинного человека: «Вот, mon cher, ум-то и талант! У, у, у! У него обо всем такие оригинальные суждения; послушай его... А сведения какие! Он, кажется, всю ученость проглотил».

– Хозяин дома, поди сюда! – продолжал длинный человек, нахмутив брови и между тем улыбаясь едва заметно. – Ну, прежде всего поцелуемся. Вот так: а потом я всем скажу слово. Присядьте-ка, господа.

Мы все сели.

– Между нами есть человек, которого имя со временем станет наряду с именами первых художников, если он будет умен. Мы все будем им гордиться и его чествовать. Вы догадались, о ком я веду речь?.. – И оратор посмотрел на бедного живописца, который потупил глаза в стол и, казалось, боялся пошевелинуться.

– Да, его произведения, которыми вы все любовались – диво! Надо уметь оценить их вполне; в них бездна того, о чем и рассказать нельзя, но что доступно только посвященным в таинства искусства...

Офицер и статский при этих словах перемигнулись друг с другом. Этим миганием они хотели сообщить друг другу то удивление и тот восторг, который проникал их насквозь от обаятельной силы красноречия длинного человека.

– Дело в том, что ты, хозяин дома, во славу и дальнейшее

преуспеяние русских художеств, должен непременно угостить нас шампанским! Сегодня экстренный случай. Мы еще не поздравляли его. Итак, первый тост за его успехи! – И он указал пальцем на бедного живописца, который все еще не поднимал глаз.

– Bravo, bravo! превосходная мысль! – раздалось несколько голосов. И увы! хозяин волею или неволею, должен был повиноваться.

Скоро раздался гармонический звон стаканов, и первая бутылка очутилась перед носом длинного человека. Он любовно посмотрел на нее, ласково погладил ее благородную шею и занялся ее откупориванием.

С страшным залпом вылетела пробка, и шипучая, звездистая влага вырвалась на свободу. Стаканы были наполнены. Все обратились к художнику при неистовых криках. Он старался, и очень заметно, скрыть свое удовольствие, но не мог. В порыве этого удовольствия он схватил за руку длинного человека и крепко пожал ее; но длинный человек отдернул свою руку и протянул к нему свои объятия. «Поцелуемся!» – сказал он, и они наклонились друг к другу и поцеловались через стол.

Потом длинный человек начал декламировать о том, что такое Шекспир, что такое Гете и Шиллер, что такое Москва и Петербург, Микель-Анджело и Рафаэль, какая судьба ожидает художества в России...

Все слушали его, и дивились ему, и пили. Морские офи-

церы были вне себя от его речей. Он был оракулом этого маленького литературного кружка, а потому пил больше всех и поил художника. Шампанское потоком лилось в уста оратора, вдохновение потоком изливалось из уст его. Опорожненные бутылки начинали вытягиваться строем; лица собеседников ярко горели; в краткие минуты отдыхов оратора уже литераторы второго разряда смелее начинали подавать свой голос.

Вдруг длинный человек приподнялся со стула, облокотился обеими руками на стол и торжественно обвел глазами все общество. Литераторы второго разряда тотчас смолкли, тишина воцарилась в комнате.

– Еще слово, и это слово опять-таки к виновнику нашего пира, к творцу Ревекки! От лица русских художеств обращаюсь я к нему и даю следующий совет...

– Говори же скорей и чокнемся! – воскликнул творец «Ревекки»...

– Молчи... Совет мой будет тебе полезен, и да не изгладится он из памяти твоей во всю жизнь. Ты еще молод, неопытен, выступаешь на поприще скользкое. Тебе бог дал талант, и зависть обовьет тебя и сдавит, как змеи Лаокоона, – и тысячи змеиных голов устремятся и будут шипеть и изливать яд свой. Да, я знаю это по собственному опыту, – но не бойся. Трусость хуже всего, иди смело вперед и не кланяйся на пути прохожим. Надобно, чтобы они тебе первые кланялись. Не пренебрегай деньгами из пустого идеализма.

Деньги – все: они и любовь, и дружба, и счастье, и слава! Не морщись, – поживи с мое, узнаешь, прав ли я. Деньги имеют силу сверхъестественную. С деньгами тебе неопасны будут и змеи, которые обовьют тебя; покажи им горсть золота, они сейчас же потеряют свою силу и отпадут от тебя... Итак, прежде всего наживи деньги. Искусство искусством, деньги деньгами; одно не только не помешает другому, а еще пособит. Без денег нет внутреннего спокойствия, а без внутреннего спокойствия творчество не придет к тебе. Деньги и деньги! Наживешь деньги – поезжай в Италию, подыши тем воздухом, которым дышали Торквато, Рафаэль, Данте, Тициан и Доминикино... Открой в Риме большую и богатую мастерскую, возьми кисть – и пиши... вдохновение при таких обстоятельствах явится к твоим услугам, об этом не заботься – и к тебе в мастерскую нахлынет вечный город и будет тебе аплодировать. Праздные путешественники съедутся со всех концов земли смотреть твои картины; журнальные листки прогремят о тебе... И тогда, тогда только вздохни свободно и легко и скажи самому себе: слава моя упрочена, теперь мне за нее трепетать нечего. Потом, если задумаешь, возвращайся в Россию, живи и наслаждайся жизнью, пиши даже дурные картины, если художественные силы твои истощатся, – ничего: и дурными твоими картинами будут все восхищаться, потому что имя твое уже освящено. Но, не заставив кричать о себе в чужой земле, ты ничего не выиграешь в своей. Теперь ты понравился, тебя хвалят, тыходишь

в моду; все это непрочно: мода пройдет и тебя забудут, деньги ты проживешь, вновь будет взята неоткуда. Dixi!

И длинный человек тяжело опустился на свой стул. Опять раздалось громкое браво, но художник молчал, он немного поприздумался... однако через минуту налил себе стакан вина, выпил вино до капли и закричал:

– Что будет, то будет, а теперь станем пить!

– Хорошо сказано! – проворчал длинный человек. И снова стаканы наполнились.

Через два дня после этой попойки, в одном петербургском журнале объявили самыми громкими, вычурными и бестолковыми фразами, с маленькою примесью чего-то вроде остроумия, что молодой художник, г. Средневский – кандидат в гении, и что две его картины, восхищавшие всю петербургскую публику на выставке, могут смело соперничать с лучшими картинами Тициана и Рубенса!



### III

Осень, скучная и грязная осень, наступила, и говорили, будто ранее обыкновенного, хотя в тот год в Петербурге совсем не было лета. Я переехал с дачи в начале сентября; дождь лил ливня, наводя уныние; мутное серенькое небо оскорбляло зрение; я решился никуда не выходить из дома. В это время очень кстати вздумал довольно часто посещать меня мой живописец. Мы постепенно привыкали друг к другу; он становился со мною непринужденнее, открытее, и меня очень занимали его разговоры. Дождь стучал в окна, а нам у камина было так тепло и покойно! Он сделался, как я заметил, вообще гораздо развязнее, он мог даже спокойно лежать на кушетке, протянув ноги, и не вскакивать, если кто-нибудь входил в комнату. Картины свои он продал князю Б\* за большие деньги: это можно было тотчас заметить, потому что на нем был коротенький сюртук, дивное произведение одного великого и дорогого петербургского артиста, славно выказывавший его прекрасную талию; черный атласный платок с длинными концами, небрежно завязанный узлом и зашпиленный маленькой золотой булавкой; тонкое белье. Все это преобразило его. И как шли к этому его длинные белокурые волосы, его голубые глаза. Я любовался, глядя на него; я был уверен, что женщины на него заглядывались. И он был весел как дитя, забавляющееся новыми игрушками. Первые

два портрета удались как нельзя лучше; об этих портретах заговорил весь аристократический люд и удостоил его чести быть своим привилегированным портретистом. Позолоченные двери салонов отворились перед ним; мир чудный, роскошный, неведомый открылся перед ним: и ковры, и бронзы, и шелк, и бархат, и мрамор, и вся эта сказочная роскошь тысячи одной ночи. Он, очарованный, вдохнул в себя эту негу, эту тончайшую амбру, которая так непостижимо-усласнительно щекочет обоняние бедняка, сыздетства более привыкшего к гераням и ноготкам, чем к пышным, махровым розам, гелиотропам и гиацинтам... Ярко и живо описывал он мне свою робость, которую так мучительно ощутил он в первый раз при взгляде на расточительность богатства, на наружный блеск, на этих женщин, так непостижимо – грациозных, так страшно-соблазнительных. Когда он говорил об них, он весь дрожал, на глазах его блестели слезы. Я понимал его юношеский жар, но, слушая его, смеялся от всей души. Ни разу, однако, в разговорах со мною он не касался своего прошедшего, даже мне показалось – избегал этого, несмотря на то, что иногда откровенно высказывал мне свои задушевные мысли. Случилось как-то, что он засиделся у меня часа до второго; я уж начинал зевать – он увлекся моим примером и наконец взялся за шляпу; вдруг мне пришел в голову рассказ барыни на выставке, я остановил его и передал ему этот рассказ от слова до слова и в лицах.

Когда я кончил, он положил свою шляпу на стол и бро-

сился на диван в заметном волнении.

– Проклятая чиновница! – сказал он, – никак не может оставить меня в покое. Но за себя я прощаю ей; меня возмущает только то, что она осмеливается тревожить память этой девушки, которую я точно любил. Она была чудная, редкая девушка! Воспоминание о ней – самое святое воспоминание моей жизни. На моих картинах точно она... – Он до рассвета просидел у меня, рассказывая историю этой бедной девушки, дочери чиновного человека, и свое знакомство с нею.

– Я бы готов был, – сказал он, уходя от меня, – жить снова в бедности и неизвестности, переносить всевозможные лишения, только бы увидеть ее хоть один раз еще, услышать ее голос. Верите ли, я иногда не сплю по целым ночам: мне представляется, что я должен увидеть ее, и я жду этого чудесного явления с сладким трепетом сердца – но все напрасно! Мне часто слышится ее походка, и я вздрагиваю.

Этой последней эффектной выходкой, этими таинственными фразами он хотел, казалось, произвести на меня впечатление, хотел придать своей прежней любви интерес поэтический, – уверить меня, что эта любовь была так глубока, так велика, что на нее не могло иметь влияние даже время всесокрушительное и всеохлаждающее; он хотел обмануть меня и, сам не подозревая, обманывал вместе с тем самого себя. Не шутя пораздумав, верно он не принес бы ничего в жертву для возвращения своего прошлого. Настоящее всегда несравненно существеннее, увлекательнее и заманчивее,

несмотря на все красноречивые<sup>1</sup> доводы милых мечтателей... Жизнь внешняя впервые явилась перед ним фантастически-разубранная, страстная, как вакханка в венке из сочных и продолговатых гроздиев, с соблазном на устах... и она манила его в свои роскошные объятия, звала на свою пламенеющую грудь и то небрежно раскидывалась перед ним, то окружала себя мгновенным, ослепительным блеском...

О, прочь все благоразумные советы и предостережения людей опытных, и высокие примеры самообладания и самоотречения! Молодой человек жаждет жизни; у него страшно кипит кровь, радостно бьется сердце надеждами, взор светлеет любовью и верою, кудри прихотливо и живописно выются до плеч – и он без размышления предается лукавой чаровнице, и он, как у Шиллера, бросается в мрачную и страшную бездну за драгоценным золотым кубком.

Жизни, жизни ему! Он упивается настоящей минутой, для него прошедшее – мертвая развалина, будущее – туман непроницаемый... Он, переполненный силами, хочет действовать, а не сидеть сложа руки, не болезненно мечтать и пресмыкаться в кругу фантомов, выходцев с того света, и бесцветных идеалов, насильственно вымученных у бедного воображения.

Моего живописца, слава богу, занимало все, потому что для него все было ново – и он не успел выучиться скрывать своего девственного восторга. Правда, по странности, свойственной многим людям, он нередко употреблял ста-

вание казаться не тем, чем был, прикидываться недовольным, идеальничать, говорить разочарованным, элегическим тоном русских стихотворений, – но это было ненадолго: он тотчас же выходил из своей неприличной роли, сбрасывал с себя смешную маску и являлся в настоящем своем виде.

И в эти идеальные минуты он был чудо как хорош!.. Он требовал от жизни такого, чего и сам не мог растолковать себе; он хотел пересоздать всех и все, приделать к себе крылья – и, вроде Амура, летать в облаках и упиваться небесным ароматом, и свысока смотреть на презренное человечество, ползающее внизу. Он рассуждал о предметах совершенно новых, как-то: о созвучии двух душ, о счастье быть любимым не по-здешнему, не по-земному; о высшем блаженстве найти себе девушку, облеченную в ризы ангельские, и слиться с нею в полной гармонии, а потом умереть, – и проч. и проч., о чем прекрасно рассуждает всякий герой какого – нибудь романа или повести в высоком роде, написанной для разрешения нравственно – философического вопроса. Иногда же он толковал о том, что любить никого не может, даже и в таком случае, если бы «неземная», которую он хотел отыскать, вдруг откуда-нибудь прилетела сама и чисто-сердечно объявила, что она сгорает к нему самую страстную и вместе с тем самую небесною любовью. «Любят один раз в жизни, – говорил он. – Нет той, которую любил я, – и для меня не может существовать другая любовь!»

Эти слова доказывали, однако, что он непреодолимо жела-

ет любить – и при первом удобном случае готов влюбиться до полусмерти. Так прошло два месяца, – и он до того приучил меня к себе, что когда не являлся в условленное время, – а это случалось редко, – мне становилось без него неловко, скучно. Привычка великое дело, к тому же я необыкновенно люблю и уважаю тех людей, которые отвлекают меня от моих занятий и дают мне предлог оправдываться в бездействии перед самим собою. Мой юноша говорил много об искусстве, и говорил с жаром, с увлечением. У него было глубокое чувство – и чувством он понимал то, чего другие никогда не поймут умом. Не одно искусство, которому он посвятил себя, исключительно занимало его, исключительно было доступно ему: он много читал, он был в восторге от Гете; «Вильгельм Мейстер» был его настольною книгою: бесконечный поэтический мир открывался перед ним в этой чудной книге; его любимую мыслью было изобразить на картине Миньону; он наизусть декламировал многие места из трагедий Шиллера и, декламируя, горячился и размахивал руками. Надобно было его видеть в ту минуту, когда он прибежал ко мне с известием, что прочел «Мейстера Фло» Гофмана. «Гофман великий поэт, великий! – кричал он, бегая из одного конца комнаты в другой. – Эти господа, которые кричат, что он с талантом, но чудак, что у него немного расстроено воображение, – они не понимают его, – они, эти не-чудаки, эти умники, читая его, видят только перед своими глазами одни нелепые и безобразные фигуры и не подозревают, что

под этими нелепыми фигурами скрываются дивные, глубокие идеи, идеи, доступные только поэтической душе, живо-  
му сердцу, а не их мертвым и засушенным умам!» Воздуш-  
ная красавица, незаметно скрывавшаяся некогда в чашечке  
роскошного тюльпана и снова вышедшая оттуда во всем при-  
хотливом убранстве своем, эта непостижимо-пленительная  
принцесса Гамагег долго повсюду носилась за моим живо-  
писцем и приводила его в такой восторг, которого, вероятно,  
при взгляде на нее не чувствовал и сам великолепный царек  
блох, удивительный мейстер Фло. Шекспир... но Шекспира  
мой живописец читал мало, благоговая перед ним более по-  
наслышке, и если говорил о нем, то с очень заметною уме-  
ренностью. Душа его требовала образов идеальных, звуков  
гармонических, мыслей отвлеченных; он искал в поэзии удо-  
влетворения своим личным ощущениям. Ему страшна была  
эта неумолимая истина, эта наружная холодность, эта могу-  
чая полнота жизни в созданиях великого; он еще не приго-  
товился, чтобы войти в этот мир без всяких украшений, в  
мир как он есть, во всем своем возмутительном безобразии  
и во всей увлекательной, божественной красоте своей; фор-  
ма этих созданий пугала его, останавливала на каждом шагу,  
была ему недоступна, удерживала его юношеский восторг, не  
давала разыгаться его чувству, не возвысившемуся до со-  
знания; ему еще дико казалось это творчество – громадное,  
бессознательное и бесстрастное. И я не удивлялся этому, не  
противоречил ему, но всегда с участием слушал его востор-

женные речи; только, бывало, когда он заговорит о небесной «любви» и погрузится в мечтания, я преспокойно начинал дремать. Он заметит действие, произведенное на меня его фантазиями, и сам расхохочется над собою...

Но вместе с осенью кончились наши частые свидания, он почти перестал бывать у меня, несмотря на то, что зимние пути сообщения несравненно легче. Сначала это меня удивило; я думал, не сердится ли он на меня за что-нибудь, и однажды, встретив его на улице, шутя заметил ему, что он совсем разлюбил меня. Он извинялся, говорил, что не имеет минуты свободного времени, что завален работой и еще что-то в этом роде.

Это была явная отговорка, обыкновенные фразы, употребляемые для того, чтобы не совсем оставлять без ответа того, кто нас спрашивает о чем-нибудь. Я уже начинал забывать о моем живописце, но вдруг общие слухи о нем дошли и до меня. Загадка, почему он перестал ходить ко мне, объяснилась: он находился под влиянием длинного человека! Меня это несколько не удивило: я знал, что длинный человек стоит на ловле возникающих талантов, заманивает к себе неопытных и опутывает их своими сетями с большим искусством.



## IV

Теперь позвольте мне познакомить вас покороче с длинным человеком. Он средних лет, ходит мерными шагами, говорит с расстановкой, важно, уверительно, иногда поднимая глаза к потолку, иногда опуская их к полу; речам своим он старается всегда придавать таинственность, относятся ли эти речи к сатаническому поэту Байрону или просто к погоде. В первые годы молодости он искал себе славы – и славу свою хотел основать на трех, сочиненных им, длинных поэмах, в 2500 стихов каждая. Тогда еще у нас была мода на поэмы. Этими тремя поэмами он возымел дерзкое намерение сокрушить всю предшествовавшую русскую литературу от Ломоносова до Пушкина включительно. А для того, чтобы о его гении трубили заранее повсюду, чтобы везде прославляли его и удивлялись ему, – он, еще до напечатания своих длинных поэм, собирал около себя юношей безвестных, невинных и пылких, которых так легко приводить в восторг, так легко заставлять удивляться. И невинные и пылкие от всей души аплодировали ему и кричали о нем, где только могли кричать. Но вот появились наконец в печати длинные поэмы – и заговорили сами за себя, и произвели эффект. Тогда длинный человек отпустил от себя невинных и пылких: в них уже не было ему никакой надобности. Его длинные поэмы все читали, хоть, может быть, никто не дочел их конца,

все хвалили и все говорили: «Да посмотрите, как они длинные, огромны!» На всех нас, русских читателей, – это истина неоспоримая, – действует еще до сих пор гораздо более количество, нежели качество, и потому наши сочинители, как люди умные и сметливые, основывают всегда свою известность на количестве томов, и потому мы, например, говорим: Пушкин – сочинитель «Цыган», Херасков – творец «Россиады»!..

Длинный человек вполне уразумел эту великую истину, и общий голос включил его в почетную шеренгу литераторов первого разряда. Но он не удовольствовался этим и возжаждал – славы! Слава издалика улыбнулась ему, но он, при всем своем уме, не понял ее двусмысленной улыбки и бросился к ней, – а она дальше и дальше, а он все за ней. Шли годы, его никто не видел; в эти годы он все гонялся за славой; между тем люди неблагодарные и жестокие стали по-маленьку забывать и его, и его длинные поэмы. Эгоисты! они требуют, чтобы беспрестанно забавлять их и вертеться у них перед глазами! Он наконец возвратился утомленный, не догнав ее, этой соблазнительной славы. Тогда, с болью в сердце, увидел он свою ошибку. Остаться в забвении он не мог; надобно было придумать средства к поддержанию своей известности. Какие же средства? Длинный человек хитер, изобретателен: чувствуя, что его не достанет более и на 300 стихов, он перестал писать стихи и снизошел до прозы. Прозой писать, говорят, ничего не стоит, необыкновенно легко.

Итак, он снова бросил имя свое неблагодарным людям под какую-то прозаическую статью. Люди вспомнили о своем прежнем забавнике, и хоть не с прежним энтузиазмом, но заговорили о нем. Журналисты – души добрые и неподкупные, страдальцы, подвергающиеся разным клеветам и наветам своих бесталанных завистников, они, приятели длинного человека, объявили благосклонной публике, что длинный человек пишет мало и прозой оттого, что не хочет писать много и стихами; а стоит ему захотеть – и появится удивительная не только поэма, но целая эпопея в шесть раз больше виргилиевой «Энеиды».

Между тем длинный человек уединился в собственное величие, понял тщету земного; он исподтишка лукаво улыбается и думает: «Ждите, ждите моей поэмы, друзья мои, и смотрите на меня с надеждою, я проведу всех вас! Я буду жить теперь не для вашего удовольствия, а для своего; я окружу себя молодыми поэтами, музыкантами, живописцами, всеми возможными талантами, на которых только обращено внимание: из них я составлю блестящую рамку для своего собственного портрета, и мной вы будете любоваться и говорить про меня: он друг такому-то первому художнику, такому-то первому композитору, он все знает с „первыми“!.. Художники, особенно молодые, доверчивый и недогадливый народ: они не поймут, что мне они необходимы для собственного моего украшения... Человек совестливый – за услугу, которую они, сами не подозревая, оказывают мне, –

я научу их философии жизни; я разверну перед ними биографии гениев и докажу им, как дважды два – четыре, что все великое и прекрасное не оценивается современниками и терпит на земле горькую участь. Если они испугаются этой мысли, я скажу им: вздор, пугаться нечего; хорошее прячьте от людей, давайте им посредственное и берите за это с них денег, как можно больше денег. С деньгами же и веселитесь, и пейте. Недаром пили и веселились гениальные художники: стало быть, вино хорошо!»

И вот, благодаря своему успеху, мой живописец записался в несметное число друзей его и поступил на вакансию какого-то старого друга, который, изучив вполне «философию жизни», поблагодарил длинного человека за его уроки и удалился.

Я не знал, что этот литературный Мефистофель, переделанный на русские нравы, этот длинный человек давно уже заманивал к себе моего юношу. Правда, на том литературном вечере, где был я, куда и вас осмелился ввести, читатель мой, и я и вы заметили, что он, не шутя, за ним ухаживал; что, подавая ему советы, он тогда же, кажется, намеревался мало-помалу посвящать его в свои таинства. И должно отдать ему справедливость: он так мастерски растревоживал самолюбие своей жертвы, так приятно льстил этому неугомному самолюбию! Он на себе изведal, что самолюбие есть вернейший проводник к человеческому сердцу.

Длинный человек любил публичную жизнь. Он был по-

всюду: и в театрах, и в концертах, и в ресторациях, и на улицах. Юноша мой всегда рядом с ним; он сделался его неразлучным спутником... Не вините моего юношу: праздная и разгульная жизнь кому не была в свое время по сердцу?

Сколько знакомств доставил ему длинный человек, и каких знакомств! В Петербурге, как и во всех европейских столицах, есть особенный класс молодых людей, которых вы не встретите никогда и ни в каком обществе. Они составляют свое отдельное братство и равно подсмеиваются над фешенеблями большого света и над любезными кавалерами среднего сословия. Это молодежь веселая и беспечная, для которой жизнь ровно ничего не стоит, для которой в жизни нет ничего такого, над чем бы стоило призадуматься, для которой всякий день – столы, уставленные жирными устрицами, и трюфелями, и кровавыми ростбифами, и бутылками разных форм и величин: с звездистым замороженным шампанским, которое действует так скоро, с бархатным, подогретым лафитом, который действует так медленно, и с сокрушительной темноцветной мадерой, и с густым пенистым портером, и с этою ароматною влагою в золотых бутылках с берегов Рейна...

Эти господа молодые люди рождаются и воспитываются для того, чтобы одеваться по последней картинке, спать до первого часа, пить кофе и курить сигару до трех часов, а с трех до пяти гулять по Невскому проспекту для возбуждения аппетита, а с пятого до восьмого обедать и пить у Дюме или

в других ресторациях, а с восьми до пяти утра пить и... вообще веселиться. Корифеями этого разгульного братства всегда бывает несколько человек, носящих старинные аристократические фамилии и имеющих довольно значительное состояние, около них-то собираются остальные – люди разных сословий, и легонькие дворяне, проматывающие свое крошечное состояньице, и купчики-франты, разрушающие немилосердно капиталы, скопленные многолетними трудами и усилиями бородатых отцов их, – и всё из высокой чести, из одного высшего наслаждения участвовать в княжеских или графских забавах и прохаживаться с известным и знатным человеком по Невскому проспекту, так, чтобы все видели. К ним присоединяются иногда французские артисты, изредка даже русские художники. За бокалами шампанского сближаются скоро; эта влага производит действие чудное. Она располагает сердца к искренности, она усмиряет барскую спесь, заставляя забывать и великолепных предков, и полосатые гербы с коронами...

Длинный человек был давно в приязни с некоторыми членами этого братства, и он познакомил с ними моего живописца...

И для него начались пиры за пирами, дни в чаду, во сне и ночи без сна – нескончаемая вереница безобразных вакханалий, от которых претяжелое похмелье и престрашная пустота в сердце. Новые товарищи его были довольны им; они не понимали только одного, почему он, добрый малый, часто

скупен сидит в громе общего веселья и задумывается, тогда как они ни о чем не думают. «Он пьет довольно для новичка, – восклицали многие, – он подает блистательные надежды, он молодец, ему скоро прискучит шампанское – вино детей, он перейдет к винам зрелого возраста».

– Умно замечено! – восклицал длинный человек. – Это верный взгляд на вина! Но нельзя с таким пренебрежением отзываться и о шампанском. В шампанском нет солидности, – так; зато в нем есть поэтичность, которой нет в других винах.

– Вино вещь хорошая, господа, – заметил мой юноша, у которого голова начинала кружиться, – но всякий день одно и то же, пиры за пирами...

– Какие пиры? – раздалось несколько удивленных голосов.

О, невинность! он не знал, что эта буйная жизнь только ему представлялась в виде пиров, а для прочих окружающих его была обыкновенное препровождение времени, существенная, крайняя необходимость, как для нас обед, чай...

Деньги становились для него очень важны, он начинал понимать цену деньгам. Вино, платье, извозчики – все это так дорого, а женщины... о, в тумане винных паров мелькали перед ним головки темно-русые, и белокурые, и черные; из них некоторые, право, были очень недурны, эти головки улыбались ему, иные, впрочем, ужасно отвратительно, а вот эта с

длинною черною косой, с влажными глазами...

Денег, денег! И он с заспанными глазами, полудремящий, для добывания денег принимался за портреты. Писать портреты чрезвычайно прибыльно, и вся мастерская его была загромождена портретами.

– Что, деньги – вещь хорошая? – спрашивал его длинный человек.

– Да, но без денег нет соблазнов, без денег я был покойнее. У меня теперь голова без мыслей, и такая тяжелая! Ни за что не хочется приняться; только и могу малевать физиономии. Чем же все это кончится?

Длинный человек медленно покачал головой.

– Не то! – с важностью произнес он. – Я люблю искусство или нет? Отвечай мне.

– Любишь.

– Так знай же, что тобой я дорожу более, чем... ну чем бы? более, чем самим собою, – и при этом он поднял указательный перст. – Следовательно, если бы тебе могла повредить теперешняя жизнь твоя, тогда я первый вывел бы тебя неволею из этого содома и сказал бы: «Не обращай назад, а не то беда». Да! кого я полюбил, с тем я всегда действую деспотически. Но успокойся, не думай ни о чем, продолжай веселиться; товарищи наши, конечно, люди ограниченные, – да и они пригодятся, и ими можно со временем воспользоваться; они богаты и глупы. Пиши теперь портреты, – ничего, так должно! Не кручинься о том, что у тебя в голове нет



мыслей. Погоди: внутренняя твоя художественная сила, что там, во глубине-то, в свое время, когда надобно, пробудится в тебе и заговорит громко, резко, повелительно: поди в свою келью, запишись, не пускай к себе никого, твори – и без твоего усилия все пойдет, как следует. Настанет это время, и сам я наклонюсь к твоему уху и шепну тебе: брось всех этих безумцев, гуляк; не теряй минуты, не пренебрегай внутренним голосом и помни, что искусство – святыня!

Время шло, а длинный человек не наклонялся к уху своего друга и не шептал ему ничего; внутренний голос живописца также молчал. Ему становилась в тягость вся эта празднично-шатающаяся ватага его приятелей. Однако он еще прогуливался с ними по Невскому проспекту; ему опротивело вино, однако он пил так же много, только поморщиваясь; ему надоели петербургские улицы, прямые и однообразные, с высокими гладкими каменными стенами, а он только по утрам сидел дома. Болезненное равнодушие овладело им; он похудел и пожелтел; ему ни с кем не хотелось говорить; ему ни о чем не хотелось думать...

– Добрый знак! – утешал его длинный человек, – от этой апатии ты скоро перейдешь к сильной деятельности. Поверь мне: приготовляй теперь краски, палитру и кисти; закупай полотна, а я между тем объявлю в газете, что ты замышляешь огромную картину, которая превзойдет все, что мы доселе имели в живописи.

– Ради бога, не делай этого! – вскричал живописец, про-

бужденный от своей дремоты, – можно ли так гнусно обманывать! Я не могу писать и решительно ничего не напишу.

– Когда тебя не спрашивают, молчи. Я лучше тебя знаю все, даже и тебя-то самого. Картину ты напишешь, а если и не напишешь, так не велико горе. Людей морочить позволительно; это им полезно. О тебе давно не говорили в печати, надо рассеять бессмысленные городские толки, что ты пьешь и ведешь жизнь праздную. Эти тупые головы думают, что художник, как чиновник с знаком отличия беспорочной службы, должен исправно ходить к своей должности, умеренно пить и есть, чтобы не отягощать желудка, ложиться вовремя да по воскресеньям в белом галстуке прогуливаться до обеда на Невском или в Летнем саду.

– А обо мне говорят, что я веду буйную жизнь?

– Вот уж и испугался! Не хочешь ли ты в самом деле, в угоду им, сделаться чиновником? Да избавит тебя от этого Рафаэль!..

## V

В первых числах апреля месяца, в одно сияющее утро, когда в Петербурге благоухание весны смешивалось с запахом грязи, которую счищали с улиц, мне очень захотелось пройтись и подышать этим свежим воздухом. Я было взялся за шляпу, как дверь комнаты моей с шумом отворилась, и передо мною, вообразите мое изумление, стоял живописец. Более полугода он не был у меня, и я думал, что мы совершенно раззнакомились, но он так радушно и крепко пожал мою руку, как будто мы с ним всё по-прежнему были коротко знакомы; он, казалось, так рад был меня видеть; он, слава богу, не извинялся и не оправдывался передо мною: эти извинения и оправдания всегда нестерпимо пошлы. Откровенно рассказал он мне о своей разгульной жизни, смеялся над своими беспутными приятелями и с восторгом выхвалял мне ум и таланты длинного человека. «Я слышал, о нем многие отзываются дурно, – прибавил он, будто предвидя возражение с моей стороны на эту похвалу, – но совершенно напрасно; надобно знать его так близко, как я знаю, чтобы иметь право судить о нем».

Я еще ничего не успел сказать, а все слушал его и все смотрел на него и убеждался, что он быстрыми шагами шел к совершенству. В эти полгода он уж мастерски развернулся и с успехом изучил небрежную манеру светских щеголей.

Ему недоставало только их милых, но немного диких привычек да еще их благовоспитанной дерзости. Увы! последнее качество дается рождением, совершенствуется воспитанием. Кстати, я припомнил, что аристократическая манера, эта неограниченная свобода во всяком обществе со всеми и везде, не изменяя себе, обращаться одинаково, быть всегда как у себя дома, соблазняла многих людей среднего сословия. Они, люди, впрочем, очень хорошие и добрые, захотели вести себя так же свободно и равнодушно и, не подозревая того, сделались невероятно смешны, непозволительно карикатурны: светская дерзость и развязанность у них превратились в оскорбительную наглость, в пошлую провинциальную грубость. На них нельзя было смотреть без сожаления, а бедных никто не предостерег, и они, не подозревая своей нелепости, были очень довольны собой, воображали, что необыкновенно милы и удивительно как всех собой озадачивают.

Мой живописец никогда не мог быть пошлым, разве – и то изредка – немножко смешным, может быть. Он имел верный глаз и чудное искусство усваивать себе то, что мельком успел увидеть в молодых людях большого света.

Он в короткое время дошел в своей наружности до того, что, если бы какими-нибудь неисповедимыми судьбами ему удалось попасть в толпу блистательного бала или пышного раута, на него никто не указал бы пальцем, от его прикосновения никто бы не поморщился. А это уж много! Перед ним его собратия, русские художники, казались чужаками,

дикарями, готентотами. Они чувствовали это и преостроумно подсмеивались над его франтовством.

– Вы принимали во мне некогда участие, – сказал он мне, – и я к вам пришел с доброю вестью о себе. За четыре дня перед этим я не знал, что с собой делать, мне было так грустно, я надоел самому себе, а теперь я снова ожил, и так неожиданно... Лучшие надежды мои могут осуществиться, – то, о чем я всегда бредил и наяву и во сне!

Он вынул из бокового кармана письмо и отдал его мне.

– Прочтите. Что вы об этом думаете?

Это письмо было от князя Б\*, который купил его картины. Князь чрезвычайно ласково и убедительно приглашал его приехать в Москву прожить там до осени. «Мой московский дом, – писал он, – к вашим услугам. Я велю все приготовить в комнатах, что нужно для вашей художественной деятельности и для вашего спокойствия, но вы сделали бы мне еще более удовольствия, если бы согласились провести лето в моем подмосковном селе вместе со мною». Осенью же князь с своею дочерью отправлялся в Италию и приглашал его ехать вместе с собою. Князь просил как можно скорейшего ответа на его предложение и прибавлял ко всему этому, что каждому русскому, особенно художнику, перед отъездом в чужие края необходимо надобно прежде побывать в Москве и покороче познакомиться с этим истинно русским городом.

– И вы, верно, воспользуетесь таким прекрасным случа-

ем? – спросил я моего живописца, возвращая ему письмо.

– Да, я решился, совершенно решился, тем более что князь человек благородный, вовсе не тщеславный, не желающий корчить мецената. Он совсем непохож на этих князей, которых всегда изображали нам в русских повестях.

Молодой человек в заметном волнении начал прохаживаться по комнате.

– Я решился; да, я поеду, – говорил он, – сегодня же я напишу ответ к князю. Петербург мне смертельно наскучил, я здесь ничего не могу делать... Так вы советуете мне воспользоваться этим предложением?.. И я наконец увижу Италию... Мне что-то не верится. Я буду в Риме и в Неаполе, я буду ходить по той земле, по которой ходили все они! Да сбудется ли это?

Он вдруг оборотился ко мне: на глазах его дрожали слезы; в эту минуту он несколько уже не был похож; на светских щеголей. Некоторые из них, с которыми он обедал и пил, расхотались бы над ним при этом детском восторге и после таких с его стороны поступков смотрели бы на него немного с сожалением.

Через полторы недели живописец давал прощальный ужин для своих коротких знакомых. Я был в числе приглашенных. Тут присутствовало между прочими несколько литераторов первого и второго разрядов, и, разумеется, во главе их длинный человек. Литераторы, по обыкновению, очень много пили и, по обыкновению, с большим чувством рас-

суждали о предметах, близких их сердцу: о том, как один журналист поссорился с другим, какие они теперь смертельные враги и как остроумно издеваются друг над другом, как литератора одной партии переманили в другую партию за лишних в год пятьсот рублей, и проч. Да еще один, судя по физиономии, сочинитель с большим талантом, восставал против повестей, где свирепствуют чиновники. «Стоит ли того, – заметил он, – чтобы ими заниматься, чтобы до них дотрагиваться? Разверните историю, и пред вами восстанут громадные, гигантские, колоссальные образы, умейте только эти образы заключить в тесную, сжатую рамку повести...»

– В самом деле, господа, – воскликнул кто-то не из литераторов, – оставьте в покое чиновников. Они очень сердятся на вас за то, что вы их критикуете в своей литературе. Я слышал далее, что они хотят когда-нибудь собраться да общими усилиями написать на вас презлую сатиру в форме отношения к вам.

Длинный человек пил и ораторствовал по привычке более всех. Голос его покрывал все голоса.

За ужином он обратился к отъезжающему.

– Смотри, – произнес он, подняв вверх указательный перст, – не раскаивайся после, что не послушал меня. К чему тебе ехать так рано? Что тебе до осени делать в Москве? Москва, конечно, город большой, но не европейский. К тому же в Москве можно только проживать деньги, а не наживать. Москва отстала на столетие от Петербурга. Впрочем,

там едят хорошо и народ гостеприимный. Занимаются там также философией, так называемой «московской», ну, да бог с ними! (Он махнул рукой.)... Настоящего кремана там и за 20 руб. не найдешь, – а почему ты покупал это вино? вино доброе... Я предпочитаю бургонь-муссё – клико, кто что ни говори!

Все литераторы второго разряда, никогда не выезжавшие из Петербурга, были восхищены замечаниями длинного человека о Москве. Град остроумия и каламбуров посыпался из уст их на Москву и на бедных московских жителей. Из этих острот и каламбуров был даже впоследствии слеплен водевильчик, который, говорят, не принят театральной дирекцией.

Первые лучи восходящего солнца озарили бледных и расстроенных гостей, которые толпою возвращались с ужина живописца домой, но длинного человека не было среди их: он не узрел великолепного светила дня, в нетленном убранстве своем восходившего на горизонт, – его отвезли домой уснувшего.

На другой день после этого ужина, в исходе десятого часа утра, дилижанс первого заведения отправился из Петербурга в Москву. Один из пассажиров, белокурый молодой человек, грустно сидел или дремал, прислонясь головою к подушке и закрыв лицо воротником шинели. При повороте с Царскосельской дороги на Московскую он вскочил, будто разбуженный кем-нибудь, высунулся в окно, посмотрел на



петропавловский шпиг, который блестел золотой иглой на бледно-сером небе, и опять прислонился к подушке, и опять закрыл лицо воротником шинели. То был мой живописец. – «Прощай, Петербург! – думал он, – может быть, я тебя и не увижу более. Прощай! Только в минуту расставанья с тобой я понял, что мне может взгрустнуться по тебе».

Теперь, о читатель мой! позвольте мне отдохнуть. Я, вместо собственного рассказа, могу вам представить несколько выдержек из журнала моего живописца, который он посылал в Италию к своему товарищу. Эта выдержка послужит продолжением его приключений... Журнал его доставлен мне тем, к кому он был адресован.

## VI

26 мая 183... Москва.

...Я уж более месяца в Москве и до сих пор не могу к ней приглядеться. Правда, всякий небольшой городок, только раскинувшийся на горе, поразил бы меня, меня, варвара, никогда не выезжавшего из Петербурга, но ты все-таки не можешь представить себе того бесконечно-глубокого впечатления, которое произвел на меня этот дивный, семисотлетний, бесконечный город божиих храмов. Знаешь ли ты, счастливчик, перелетевший из Петербурга в Рим, что ты слишком много потерял, не видав нашей родной Москвы? Ты не имеешь понятия о настоящем русском городе. Не смейся над истертым выражением: Москва – сердце России, в полном и высоком значении этих слов. Она живая, величественная летопись нашей славы народной. Вот ее святой Кремль с золотыми, сердцеобразными куполами, с бесчисленными крестами, между которыми красуются старинные двуглавые орлы, почерневшие от времени; с пестрыми теремами и башнями; с Иваном Великим, который господствует надо всеми громадами зданий. Эти столетние камни производят эффект поразительный. Войди в эти мрачные и узкие соборы, взгляни на темные иконы в тяжеловесных, драгоценных окладах и кивотах, перед которыми горят неугасаемые лампы; на царственные гробы, на мощи святых чудотворцев... Здесь

является наша Русь, облеченная торжественно в свои древние ризы, во всем очаровании поэтическом.

И как живописно раскинулась Москва по горам и пригоркам, с совершенно барским привольем и прихотями, с истинно русскою нерасчетливостью, и как роскошно утонула она в зелени садов и бульваров своих! Сколько переулков и закоулков в Москве! и все эти переулки зигзагами: нет ни одной улицы прямой, – Москва ненавидит прямых линий. И какая она пестрая, узорчатая! Как она любит украшать дома свои гербами, балконы позолотою, а ворота львами! Пове-ришь ли, я каждый день, гуляя, открываю новые виды, новые картины, и всегда неожиданно. Мне необыкновенно нравятся эти отдельные, красивые деревянные дома на скатах гор, в тени душистых сиреней и лип, а на берегу Москвы-реки деревянные лачужки, одна к другой прилепленные, нищета которых прикрывается роскошью зелени густо разросшихся берез и рябин. К этим лачужкам ведут переулочки, превращающиеся в тропинки, исчезающие под горой. Здесь, недалеко от Драгомиловского моста, я часто стою по вечерам и смотрю на противоположный берег реки: вон виднеются две каменные пирамиды с двуглавыми орлами, – это Драгомиловская застава, а за нею Поклонная гора и даль, сливающаяся с горизонтом. Кстати, я набросал в своем дорожном портфеле виды Москвы от Симонова монастыря и с Поклонной горы. С этой – то горы величаво, во всем протяжении своем, предстала она орлиным очам Наполеона, и он

ждал ее, коленопреклоненную ... с ключами старого Кремля; а она, для спасения своей Руси, уготовляла себе костер, сама зажигала его и, страшно восставая из дыма и пламени, прорицательно указывала владыке полмира на померкавшую звезду его!..

Если бы мог я передать тебе, как нравится мне Москва! Сколько отрадных, светлых минут она доставила мне! На днях вечером, именно накануне праздника вознесения, я отправился в Кремль. Вечер был теплый, летний. Долго бродил я по Царской площади, зашел в Чудов монастырь и вспомнил «Бориса Годунова» Пушкина, эту келью, в которой отец Пимен перед лампадой дописывал свое последнее сказанье, и Григория, который в минуту, когда кровь бунтовала в нем и когда его покой «бесовское мечтанье тревожило», любовался величавым спокойствием отжившего старца... Когда я вышел из соборной монастырской церкви, начинало темнеть; на площади никого не было; городской шум замирал в отдалении; тихий звон колоколов торжественно и гармонически разливался в воздухе; огни нигде еще не зажигались, но Замоскворечье уже облекалось в синий туман, уже Воробьевы горы исчезли; но на темнеющем небе горели в двух или в трех местах облитые светом пирамидальные колокольни праздничных церквей... Я с полчаса простоял на одном месте; замоскворецкие здания стали сливаться в одну неопределенную массу – и скоро на всем этом пространстве, опоясывавшем подножие Кремля, огоньки засветились в ок-

нах мелькая и перебегая, и то потухали, то снова вспыхивали. В эту минуту я ни о чем не думал, я смотрел, мне было хорошо и весело... Весь вечер я чувствовал такую полноту, силу и такое спокойствие...

Поверишь ли, что даже московские гулянья мне нравятся несравненно больше петербургских?.. Кремлевский сад необыкновенно хорош. Несмотря на то, высшее общество не удостоивает его своим посещением: в этом саду гулянье народное – и я иногда сижу здесь в вечерний час, в большой аллее, любуясь движущимися передо мной фигурами. Какое разнообразие! Среди различных особ женского пола медленно прохаживаются молодые и старые купчики с бородками и без бородок; бегают студенты, ищущие случая полюбезничать; ходят армейские офицеры с густо нафабранными усами и блестят своими эполетами (увы! в Москве эполеты большая редкость), и гремят своими саблями, и озадачивают публику своими султанами, и кушают шоколад в садовой кондитерской при восхитительных звуках тирольской песенки, сопровождаемой очаровательным брянчаньем на арфе, – кушают шоколад и бросают победоносные взгляды на худошавую, малинового цвета певицу, на эту Хлою в пастушеской шляпке, удивительно закатывающую глаза под лоб. Сколько здесь венгерок и синих; и зеленых, и с кистями, и с аграмантами! Я не знаю, к какому классу, людей принадлежат эти господа в венгерках, но они прелестны. Все они носят предлинные волосы, от которых в Петербурге пришли бы в ужас,

и небольшие усики, завитые в кольца. Ходят они – локти вперед, покачиваясь и напевая. Портреты этих господ можно видеть на московских цирюльных и других вывесках... Я, как живописец, не могу смотреть без особенного чувства на здешние вывески: они мне доставляют неисчерпаемое удовольствие. Дамы, изображенные на них в подвенечных платьях и вуалях, а, кавалеры в венгерках с эспаньолками, во фраках с блестящими пуговицами, даже в чулках и башмаках, – могли бы красоваться на нашей выставке и пленять зрителей, любящих более всего в картинах яркость колорита. В Петербурге нет таких вывесок. В Москве столько же венгерок, сколько в Петербурге вицмундиров, столько же толстых франтов, сколько в Петербурге тоненьких. Московские толстые франты с неимоверно дикими прическами медленно, важно, с одышкой прохаживаются по Тверскому бульвару, а петербургские, ты знаешь, стригут волосы гораздо короче, холят по Невскому довольно скоро, а иные, уж очень тоненькие, просто бегают. Москва, сколько я мог заметить, живет или для потребности желудка и спокойствия тела, или для внутренних, духовных потребностей, а Петербург – весь во внешней жизни. Ему некогда мыслить; он вечно в движении, вечно занят: бегают по Невскому, сочиняет дорогой проекты, танцует, кланяется, изгибается – и все для выгод; набирает акции, перепродает их, забегает на публичные лекции – с желанием мимоходом проникнуть в таинства языка, для усовершенствования своего канцелярского слога; дает обе-

ды, вечера, балы, рауты, и все это для угождения тому-то или для получения того-то. Москва веселится просто из желания веселиться, дает обеды и балы единственно по неограниченному добродушию своему и гостеприимству... Я не выдаю всего этого за непреложную истину, но мне так кажется и так рассказывают многие люди знающие. Москва, патриархальная и ленивая, никогда не достигнет этого блестящего развития практической стороны жизни, до которой изволил возвыситься Петербург... Только на берегах Невы можно набивать свои карманы. Вот и я, по милости Петербурга, теперь с деньгами! Да здравствует Петербург! о, милая моя родина, на которую я так неблагодарно нападаю!..

Ах, чуть было не забыл тебе сказать, что в Москве есть невиданные дивы: кареты и коляски, ровесники Ноеву ковчегу, издающие страшный свист, скрип и брэнчание, да еще казачки сзади этих полуковчегов, а у казачков на головах шапки в виде пополам разрезанной дыни, красные суконные, с золотыми и серебряными шнулочками и с кистью на маковке. Это очень мило!..

Я познакомился со многими здешними литераторами. Они о своих сочинениях толкуют меньше, чем наши петербургские, и уверяют, будто пишут совсем не для денег. Это мне показалось дико. «Вот бескорыстные чудаки!» – подумал я и невольно вспомнил нашего умного и милого Рябина<sup>1</sup>. Я к нему непременно напишу об этом, – да не поверит, злодей! Напрасно он предрекал мне, что я соску-

чусь в Москве; на этот раз он, мудрый прорицатель, ошибся. Несмотря на мою дружбу с ним, я не могу до сих пор понять в нем многого, и между прочим, каким образом ему могла не понравиться Москва, которую он торжественно называет Азией, да еще зачем он допускает в наши приятельские беседы людей ограниченных и посредственных. Неужели с его проницательным умом, с его опытом он может восхищаться тем, что они бессмысленно удивляются речам его и восторгаются от каждого его слова? неужели их нелепые похвалы могут льстить ему?

1. Фамилия длинного человека.

Я чуть было не забыл сказать тебе, что живу на Тверской, в княжеских чертогах. Перед ними обширный двор и красивая решетка, а над воротами ее преизрядной величины герб. Комнаты отведены мне внизу и с отдельным подъездом. А как меблированы они! мебель вся из Петербурга, и пате, и кушетки, и кресла с разными вычурными спинками. Мастерская моя довольно обширна и устроена с роскошью. Князь – добрейший и благороднейший человек в мире. Его внимание ко мне заставляет краснеть меня. Дочери его я еще не видал, потому что князь переехал до приезда моего в подмосковное село свое за 20 верст от города, и я в огромном доме один. Прекрасная коляска к моим услугам; однако я мало пользуюсь ею: ты знаешь, что я большой охотник ходить пешком. Я хотел было тотчас после приезда отправиться в деревню к князю, но случилось так, что он приехал в это время в Моск-



ву по делам и прожил в ней три дня. Он дал мне месяц срока на знакомство с Москвою и взял с меня честное слово переехать к нему в подмосковную...

Срок этот кончается; через два дня я еду туда. Говорят, будто дочь князя красавица, что от нее вся Москва в очаровании. Посмотрим...

## VII

30 мая. Село Богородское.

По обеим сторонам большой\*\*\* дороги, почти на версту, протягиваются красивые крестьянские домики села Богородского, принадлежащего князю Б\*. За ними, немного в стороне от этой дороги, на значительном возвышении, из-за густой зелени выходит обширный княжеский дом и пятиглавая церковь. Темная дубовая аллея ведет к дому – массивному зданию времен екатерининских и оканчивается круглой лужайкой против главного фасада; в середине ее, на высокой клумбе, растет несколько кустов сирени. У парадного подъезда покоятся два льва, смотрят друг на друга и придерживают лапами шары. Кадки с апельсиновыми и померанцевыми деревьями стоят по обе стороны подъезда, над которым балкон, поддерживаемый кариатидами. Два флигеля, выдавшиеся вперед, соединяются с большим домом полукруглыми галереями.

Все это я разглядел после, а в ту минуту, когда подъезжал к княжеским хоромам, я вовсе был не в таком расположении духа, чтобы спокойно заняться рассматриванием местности. Я попризадумался немного о самом себе и от нечего делать сравнивал мое прошедшее с настоящим, дивился своим незаслуженным успехам, вспомнил о тебе и о всех вас, товарищах моего детства, близких мне по сердцу, которых

судьба разметала в разные стороны. Качка коляски расположила бы меня, вероятно, еще к каким-нибудь думам, но вдруг лакей, сидевший на козлах, обратился ко мне и сказал:

– Вот, сударь, княжна изволят прогуливаться верхом...

– Где? – спросил я, вздрогнув и осматриваясь.

В конце дубовой аллеи, в которую только что повернула моя коляска, увидел я двух всадниц, возвращавшихся домой с гулянья, в сопровождении жокея. Ты будешь смеяться надо мной, если скажу тебе, что я смутился не на шутку от такой нечаянности. Встретиться с княжною, еще не зная ее, показалось мне очень неловко: поклониться ли ей или проехать мимо, как будто не замечая ее? что делать?.. Я сказал кучеру, чтобы он ехал тише, чтобы не обгонял дам, но кучер не слышал моих слов: четверня моя неслась, а дамы ехали шагом... У меня забилось сердце от какой-то глупой боязни обратить на себя насмешливые взоры княжны. Мне почему-то представлялось, что она непременно должна посмотреть на меня насмешливо... Коляска уже нагнала их... Тут только одна из всадниц, в синем амазонском платье и в черной круглой шляпе, откинула от лица вуаль, повернула свою голову, посмотрела на знакомый ей экипаж, на меня, незнакомого ей, – и сказала два слова своей спутнице, которая тоже обернулась. В глазах у меня рябило. Я мог заметить только, промчавшись мимо всадниц, что у одной из них темные волосы, у другой рыжеватые, что одна очень стройна, другая безобразно худощава. Коляска остановилась у одного из боковых

подъездов...

У двери этого подъезда стоял белокурый мальчик лет десяти, в красной рубашке с золотым поясом и с цветком в руке, точно на картинке. Когда я выскочил из коляски и вошел в длинный коридор, мальчик побежал за мною.

– Это вы тот гость, которого ждал папенька? – спросил он, нахмурясь и осматривая меня.

– А кто твой папенька?

– Разве вы его не знаете? Папенька, Демид Петрович.

Лакей, провожавший меня, объяснил мне, что Демид Петрович – главный управляющий и дворецкий князя.

– Папенька велел, – продолжал мальчик, – приготовить вам комнаты туда, окнами в сад. Князь ему приказал... Да куда же вы идете? надо направо.

Так же богато убранные комнаты, как в московском доме, ожидали меня и здесь. Только в этом убранстве слишком заметны претензии на деревенскую простоту. Окна точно выходят в сад, и в комнате, назначенной мне для спальни, кусты жимолости, прислонившиеся к самым стеклам, могут заменять шторы.

Чемоданы мои тотчас были принесены, и я начал переодеваться. Мальчик, положив руки на стол и опершись на нем своим подбородком, все пристально смотрел на меня...

– А что, миленький, ты не знаешь, князь дома? – спросил я его.

– Может быть, дома, а может быть, и в саду, – и вдруг

он подбежал ко мне и сказал, показывая, цветок: – А этот цветок мне подарила сегодня княжна.

– Она тебя любит?

– Она все целует меня и дает мне конфеты... Хотите, я вам подарю леденец? А вот и папенька пришел...

В самом деле, в дверях показался низенький, толстенький человек с редкими на голове волосами, с круглым лицом и в белом накрахмаленном галстуке.

– Прикажете ли к вам велеть принести завтрак, – сказал он, поклонясь мне с чувством собственного достоинства, – или вы пожалуете завтракать к князю? Он сейчас только узнал от княжны о вашем приезде и прислал меня к вам.

Княжна сказала ему о моем приезде! Это немного удивило меня.

– Потрудитесь доложить князю, что я иду к нему.

– Хорошо, сударь... А ты, Ванюша, что здесь изволишь делать? – И управляющий полустрого, полуласково обратился к своему сыну.

– Не сердитесь на него, – сказал я, – он со мной познакомился и, кажется, полюбил меня. Он все до вашего прихода занимал меня разговорами. Я ему очень благодарен.

– Что касается до этого, он у меня, я вам скажу, мальчик неглупый, и все бы, изволите видеть, как следовало, да ее сиятельство княжна изволит нас немножко побалывать. Ваня! пойд-ко к маменьке домой, а я сейчас к князю доложить о вашей воле...

Князь прохаживался по большой зале, украшенной сверху донизу картинами, заложив руки назад. Увидя меня входящего, он пошел ко мне навстречу.

– Очень, очень рад вашему приезду, – говорил он, взяв меня за руку... – Ну что? вы насмотрелись на нашу пеструю Москву? Теперь вы совсем к нам в деревню, не правда ли?

– Да, князь, совсем. Какое у вас чудесное собрание картин! – заметил я, с любопытством смотря на стены.

– Здесь еще не все, не все, – и лицо князя заметно просияло, он оживился. – Мой дед был большой любитель живописи и знаток. Вам известно, что и я немножко знаю толк в картинах. У меня есть славные вещи из школы Карачча, оригиналы Гвидо и Альбани. Погодите, мы с вами...

Он не договорил, потому что вдруг в соседней комнате кто-то с силою ударил по клавишам, так что мы оба вздрогнули, и вслед за этим раздался женский голос, сильный, звучный и страстный, доходящий до сокровенной глубины души.

– Это, кажется, последняя сцена из глюковой «Армиды». Дочь моя с некоторого времени, к сожалению, пристрастилась к немецкой музыке, – сказал с улыбкою князь, подходя к двери комнаты, откуда раздавались звуки. Я следовал за ним.

В этой комнате за роялем сидела она. Ее темные волосы длинны и густы, ее локоны опущены до плеч, ее белое, немного продолговатое лицо едва-едва оттеняется легким румянцем; круглые брови немножко приподняты; длинные

ресницы вполовину закрывают бледно-голубые глаза, которые иногда кажутся серыми; все это вместе так хорошо, так легко и воздушно, что на нее нельзя насмотреться. Я недавно прочел шекспиров Сон в летнюю ночь, и мне кажется, что Титания должна непременно походить на княжну... Но все это – слова, слова... они не дадут тебе и приблизительного понятия о ней, об этой княжне. К тому же все описания красоты, как бы ни были красноречивы, до невероятности надоели и прискучили... Недаром же в Москве ее величают красавицей. Она, должно быть точно,

Как величавая луна,  
Средь ясен и дев блестит одна.

Она поразила меня с первой минуты; я остановился перед нею, проникнутый благоговейным трепетом, как перед дивной картиной великого мастера, и не мог отвести от нее глаз; сердце мое сильно билось в груди... Боже, боже, как хороша она!

Она не заметила, как я и князь вошли в комнату. Мы остановились у окна. Она продолжала петь... глаза ее горели, она, казалось, вся была проникнута вдохновительною силою композитора. Вдруг, вообрази мое удивление, на половине сцены княжна смолкла. Раза два зевнула, впрочем, с большою грациею, потом перевернула ноты, лежавшие на пюпитре, еще зевнула и наконец оборотилась к окну.

Она нимало не удивилась, увидев князя, и посмотрела на меня с ужасающим равнодушием.

– Bravo, bravo, Lise! – воскликнул князь, когда она подходила к нему. – Зачем же ты не продолжала? Мы тебя расположились слушать. Однако лучше, если бы ты спела нам что-нибудь из Россини.

– Как я устала! – сказала княжна, – как мне жарко! Если бы вы могли вообразить, как я устала! Мы с мисс Дженни ездили верхом и, верно, сделали верст десять. Бедная Дженни теперь лежит.

Князь представил меня дочери.

Она сделала едва заметное движение головою, мельком взглянув на меня.

«О, какая она важная!» – подумал я.

– Что же? мы будем сегодня завтракать? – продолжала княжна, обращаясь к отцу, – я ужасно проголодалась...

– Завтрак готов.

Мы отправились в залу. Удовлетворив свой аппетит, княжна, утомленная, села в кресла и прислонилась головой к высокой подушке этих кресел.

– Зачем же ты едешь так далеко? – спросил ее князь. – Не дурно ли тебе? ты так бледна!

– О, несколько!.. – И она вскочила с кресел и с быстротою изумительною очутилась у балкона, заставленного цветами, позабыв об усталости, на которую жаловалась за минуту перед тем.



– Зачем здесь так много наставили тубероз? от них всегда такой сильный запах, от них у меня болит голова.

– Не правда ли, в этом старике есть что-то рембрандтовское? – сказал мне князь, не обращая внимания на капризы дочери и показывая на одну из картин, изображавшую старика за книгой.

Я подошел поближе к картине. Картина точно была недурна, и я распространился в похвалах ей, к немалому удовольствию князя, который, сколько я замечаю, ужасно высоко ценит свою небольшую галерею.

Княжна подошла к нам. Она посмотрела на меня в этот раз довольно милостиво и довольно пристально.

– Не правда ли, Москва очень скучна? – спросила она меня.

– Я еще не успел в ней соскучиться; для меня в Москве все так ново...

– Да!.. вы любовались видами.

– Кстати, где эти московские виды, которые ты сделала карандашом на память?

– Я разорвала их.

– Можно ли это?.. – Князь пожал плечами.

– Княжна любит заниматься рисованием? – осмелился спросить я, не обращая, однако, вопрос мой прямо к ней.

– О, я большая артистка! – отвечала она очень серьезно.

Целый день, возвратясь от князя, я устраивал свои комнаты и обедал у себя. Вечером, часу в десятом, он прислал

меня звать к чаю. Тут я увидел, кроме рыжей и молчаливой англичанки, новое лицо – тетушку князя и бабушку княжны, девицу лет 65-ти, в морщинах, с маленькими усиками, с блестящими перстнями на сухощавых руках, ненавистницу всего нового, без умолку воркующую про блаженные времена Екатерины и Павла. Чай был приготовлен в комнате, отделанной во вкусе помпейском. Это любимая комната князя. Княжна сама разливала чай; мы все уселись около круглого стола, на котором блестел великолепный серебряный самовар... Руки княжны точно изваяны из мрамора, пальцы продолговатые, тонкие и белые. Она подала чашку своей бабушке, потом мне. Бабушка отведала чай и поморщилась.

– Ты, странное дело, – ворчала она, – до сих пор не можешь выучиться готовить как следует чай: или слишком сладко, или совсем без сахара. Я в твои лета, Lise, была такая мастерица делать и разливать чай, что, бывало, светлейший князь Борис Дмитриевич, который ездил к нам всякий божий день, выпивал чашек по пяти моего чая и не мог им нахвалиться, а он был знаток в чае!

Княжна улыбнулась.

– На вас не угодишь. Не правда ли, мой чай не так дурен, как уверяет бабушка? – сказала она, обращаясь ко мне.

Не знаю отчего, но я смешался, покраснел и несвязно пробормотал что-то.

Старушка с усиками престрашно посмотрела на меня.

Княжна не могла не заметить моего смущения. Может, от-

того, что ей стало жаль меня, она снова обратилась ко мне.

– И вы, верно, будете пить еще? Я не устану наливать вам. Мне только хочется доказать бабушке, что и моего чая можно выпить до пяти чашек.

Дрожащею рукою подал я княжне выпитую чашку и поблагодарил ее.

Князь позвонил и велел подать сигар.

– Вы курите? – спросил он меня.

– Очень мало и редко... – А ты знаешь, какой я охотник курить, и в эту минуту я стал бы курить с большею приятностью, но пускать дым при дамах и в такой великолепной комнате мне показалось невежливо.

Княжна, в то время как бабушка подозвала к себе за чем-то лакея, взяла со стула сигару и подала ее мне и сказала вполголоса: «Пожалуйста, курите».

– В деревне смело можно курить и при дамах, – прибавил князь.

Старушка с усиками, увидев меня с сигарою во рту, еще страшнее посмотрела на меня.

– Курить при дамах, – заворчала она, относясь к князю, – на даче, в деревне или в городе в наше время считалось величайшим невежеством. Я помню, как молодой граф, сын графа Александра Кирилловича, однажды на блистательном бале у покойной матушки, – на бале, который удостоила своим посещением блаженной памяти императрица, – сказал при дамах, что он охотник до трубки. Что ж вы думали, князь?

Да мы, девицы, перестали смотреть на него, все от него стали бегать, как от чумы.

– Времена не те, бабушка!

– Знаю, княжна, знаю. Вы теперь ни за что не в претензии: при вас мужчины лежат, а вас это нимало не оскорбляет.

Вчера утром я гулял по саду и встретился с княжной, которая довольно приветливо отвечала на мой поклон. Она шла с своей рыжей англичанкой, мисс Дженни. На ней было темное платье и полосатая мантилья. Как все, что ни наденет она, к лицу ей! Долго провожал я ее глазами, покуда она совсем исчезла за деревьями... Друг! такую девушку я вижу первый раз в жизни. В ее походке, в ее малейшем движении необъяснимая грация, в ее взгляде сила и очарование, от которого тщетно стараешься высвободиться; в голосе ее звучность и мягкость, так могущественно действующая на душу... Не брани меня за мои восторженные речи. Слышишь ли? я никогда не видал такой девушки, решительно никогда... Прежняя любовь моя кажется мне смешною и жалкою. Это было желание любви, а не любовь: это был первый ребяческий лепет сердца... Но полно; я что-то хотел сказать тебе о княжеском саде... Да, этот сад, несмотря на свою огромность, содержится в величайшем порядке. Местоположение его красиво, потому что гористо. От дома до большого озера прямые, классические, подстриженные аллеи, установленные мраморными бюстами Гераклита, Демокрита и других шутов древности, точно как в Летнем саду.

За озером же мастерски распланированный английский сад. Вечером мы катались в линейке, князь и я, княжна и англичанка. Окрестности здешние удивительно живописны; жаль, что мало воды. Княжна два раза была в чужих краях и с энтузиазмом говорила мне о Неаполе и его окрестностях. Прости мне! по ее отрывочному рассказу я составил себе гораздо яснейшее понятие об этом чудном городе, чем по твоим подробным письмам... Я начинаю обращаться с нею свободнее, я перестаю бояться ее. Она совсем не так горда, как показалось мне в первый раз. Сколько я мог до сих пор заметить, она глубокая девушка, с душою полною и прекрасною... а наружность ее, наружность!

О, теперь вижу я, что только блестящее воспитание большого света дает женщине эту волшебно-поэтическую, художественную форму. Против этого нечего спорить. Мне становятся отвратительны, гадки и глупы все выходки против большого света наших и других сочинителей, особенно наших. Я всем бы им сказал: «Зелен виноград, милостивые государи! Неужели, в самом деле, общество генеральши Поволокиной лучше?»

Если умному человеку непременно надобно толкаться в обществе, так пусть он толкается там, где по крайней мере хоть внешность ослепительна, а не оскорбительна. Я думаю, ни ты, друг мой сердечный, ни я не в состоянии идти теперь на балок к г-же Липрандиной, где мы некогда, воспитанники академии, в синих мундирах с золотыми галунами, так от

души выплясывали по воскресеньям с барышнями и восхищали их своею любезностью?..

## VIII

8 июня.

С половины апреля до сей минуты мы пользуемся такой неоцененной погодой, что, право, не завидуем вам, живущим в странах, благословенных богом и дивно изукрашенных его щедротами. Я каждый день вижусь с княжной, часто гуляю с ней, в две недели я сделался человеком домашним в доме князя. Она показывала мне рисунки свои: в этих рисунках много таланта, но всего более я люблю ее за роялем. Музыка просветляет ее. Едва проникнется она гармонией любимца своего, Моцарта, – обыкновенно веселое и беспечное лицо ее вдруг делается задумчивым; глаза принимают выражение неясное, туманное, но за этой туманностью неизмеримый мир любви и блаженства!

В ноябре князь располагает быть в Риме, и я наконец обниму тебя после бесконечной разлуки, – и ты увидишь ее. Тогда решишь, прав ли я, прибавил ли я хоть одно лишнее слово, говоря об ней... Я до того счастлив теперь, что иногда сдается мне, будто такое полное счастье не может быть продолжительным, и мне становится страшно за себя... Я начинаю совершенно мириться с жизнью. Друг, она прекрасна, эта жизнь! Я убеждаюсь, что в ней-то, цветущей и могучей, а не в собственных грезах должны мы искать собственного удовлетворения... И люди, право, не так гадки, как говорят

и пишут об них... Я тебе должен передать две занимательные новости.

Третьего дня я получил два письма из Петербурга: одно от Осипа Ильича Теременина и его достопочтенной супруги Аграфены Петровны, которые из всех сил и самым отборным канцелярским слогом стараются уверить меня, что всегда принимали во мне нежнейшее участие, считали меня ближайшим своим родственником, благодарят теперь бога за мое счастье и проч. и проч. Все это предисловие ведет к тому, что Аграфене Петровне очень хочется к следующему новому году быть статской советницей, и она с чего-то изволила вообразить, что князь возьмется хлопотать об этом. Какова?

Другое письмо от нашего приятеля Рябинина. Оно удивило и обрадовало меня. Я тебе выпишу несколько строк из этого письма, и ты увидишь, в чем дело:

«Знаешь ли что? не улыбайся, я говорю не шутя. С охотою поехал бы я с князем Б\*\*\* в чужие края, если у него будет лишнее место, для того только, чтобы не расставаться с тобой. Ты сделался необходим моему духовному бытию. Да! часто в голове моей блеснет мысль яркая, лучезарная... но с кем разделить ее? людей много вокруг, людей со смыслом и с чувством, но они не так глубоко поймут меня, как ты. В стране любви и искусств мы вместе преклонили бы колени перед творениями избранников божиих, и в одно время в душах наших затеплилась бы молитва!.. К тому же я мо-



гу быть полезен князю, как писатель; пожалуй, я вел бы путевые записки; ты, верно, взялся бы сделать к моему тексту несколько рисунков; все это князь издал бы великолепно, как прилично меценату. Похлопочи-ка об этом, да подъезжай к князю половчее, похитрее. Если это удастся, то я скоро обниму тебя и крепко прижму к груди моей... А ведь, ей-богу, славно бы мы прокатились, да ещё и на чужой счет...»

Чудак! он не может обойтись без всяких фраз ни в письмах, ни в разговоре; он беспрестанно твердит о деньгах, и оттого о нем многие думают как о человеке, для которого нет другого кумира кроме денег, о нем, так пламенно и бескорыстно преданном искусству!

Я тотчас же пошел к князю.

Князь был в своем кабинете. Кабинет этот весь завален английскими гравюрами и заставлен избранными картинами, особенно нравящимися князю... Этой чести удостоилась и моя «Ревекка», недостатки которой начинают только теперь выясняться мне...

– Читали ли вы, мой милый, – начал князь, увидя меня, – читали ли вы рассуждение о живописи Леонарда да Винчи? Эту книгу не везде можно достать; впрочем, она переведена на французский язык. К ней приложены рисунки, сделанные Пуссеном. Сколько тут мыслей, сколько верности во взгляде! Прочтите, она у меня есть; я только сейчас все думал о ней. У меня библиотека полная, старинная, что хотите найдете в ней; есть сочинения очень редкие. Пожалуйста, пользуйтесь

ею.

Я поклонился князю.

– Полноте; я вам говорю это не для того, чтобы вы благодарили меня. Мы с вами познакомились так, что церемонии можно в сторону... Знаете ли, что Леонардо да Винчи, между прочим, был и поэт, как и Микель-Анджело? Он написал сонеты и один, совсем недурной по тогдашнему времени, дошел до нас...

– Я не знал этого, князь.

– Да, да; это известно... О, сколько наслаждений в Италии готовится вам, молодой человек!.. Верите ли, что я завидую вам? Для меня уже там нет ничего нового: мне известен каждый сокровенный уголок в самом незначительном монастыре. У меня, надо сказать вам, есть инстинкт угадывать, где хорошее; иногда по этому инстинкту я отыскивал удивительные картины, о которых, – князь взял меня за руку и наклонился ко мне, – о которых не подозревают и сами итальянцы. Хотите ли меня иметь своим чичероне?

– Мне это будет очень лестно, князь, – отвечал я.

– Вам должно непременно, и поскорей, прежде всего познакомиться с флорентийской школой, с этой матерью всех школ, которая произвела Леонарда да Винчи и Микель – Анджело. А венецианская школа? а великий Тициан? Правда, в его исторических картинах вы не найдете исторической верности; он не заботился об изучении древностей; но, несмотря на это, он великий живописец. Ведь и в шекспировых ис-

торических драмах история часто прихрамывает, а все-таки Шекспир гениальный поэт!

Сказав это, князь начал прохаживаться по комнате, потом остановился передо мною и посмотрел на меня. – Знаете ли вы, – сказал он мне, указывая на картины, – моя жизнь в этом. С детских лет во мне родилась страсть к живописи. Я мог бы служить и выслуживаться; но я предпочитаю свободную и независимую жизнь всему на свете. Вот отчего я живу в Москве и только заглядываю в Петербург.

Добрый князь никогда не был так расположен к откровенности, как в сию минуту. Это ясно увидел я по выражению лица его, по резким движениям, которых прежде не замечал в нем. Мне показалось удобным воспользоваться этой минутой, и я, намекнув ему сначала о том, что во время наших странствований по Италии недурно было бы вести путевые записки, которые можно посвятить особенно предметам, относящимся до художеств, – указал ему на Рябинина, как на литератора опытного, известного и – главное – занимающегося издавна изучением художеств.

Сильно подействовала на князя мое предложение.

– Превосходно, превосходно! – восклицал он. – Как прежде мне не приходило это в голову?.. Превосходно!.. Я благодарен вам за этот намек. Да! путевые записки, посвященные на описание всех сокровищ, которыми обладает Италия... Превосходно! Но согласится ли ехать с нами г. Рябинин?

– Он мой хороший знакомый; я напишу к нему и заранее уверен в его согласии.

– У нас, кажется, ничего не было до сих пор в этом роде! – продолжал воспламененный князь. – Превосходно!.. Вы берете на себя живописную часть, не правда ли?.. Я ничего не пожалею на это издание, оно делается известным всей Европе... мне знакомы лучшие лондонские граверы... А г. Рябинин точно с талантом писатель?

– С большим талантом, князь. Вы не читали ли его поэмы «Вальтазар»?

– «Вальтазар»!.. – Князь задумался... – Позвольте, «Вальтазар»... Да, я слышал, кажется, про нее; ее очень хвалят, она произвела впечатление, да... Если она у вас здесь, пришлите ее мне, я непременно прочту. Пожалуйста, напишите же к г. Рябинину с этой почтой...

Я сказал князю, что тотчас же пойду за поэмой, но он удержал меня.

– После; вы ее пришлите ко мне. Я что-то хотел спросить у вас. А! заметили ли вы в большой зале над дверьми в голубую гостиную небольшой портрет?

– Не помню, князь.

– Славная вещь! Кажется, можно утвердительно сказать, что это работа Иоанна Гольбейна. Внизу стоит 1548 год. Пойдемте-ка посмотреть.

И князь потащил меня за собою.

В зале встретили мы старушку с усиками, которая сильно

не благоволит ко мне; я раскланялся с ней и принялся рассматривать картину мнимого или настоящего Гольбейна, который мне совсем не понравился.

Старушка с усиками, разряженная, ходила по зале и ворчала:

– Картины хорошо иметь для украшения комнат, для того, чтобы при случае сказать: у меня картинная галерея. Но прилично ли заниматься ими с утра до ночи, не знаю, – и не понимаю такой страсти. Другое дело, собирать драгоценные камни и антики...

И она перебирала, говоря это, перстни на своей худощавой руке.

От Гольбейна мы перешли к старушке с усиками. Князь, посмотрев на меня с улыбкою, обратился к ней.

– Хотите ли, тетушка, я подарю вам мой античный перстень с ромуловой головой?

Маленькие глазки разряженной старушки засветились при этом вопросе, голова ее затряслась, ленты на чепце заколебались.

– Вы шутите, князь! – сказала она, приподняв голову и посмотрев на своего племянника.

– Нисколько, и в доказательство я вам сейчас принесу его. Князь вышел и скоро возвратился с перстнем.

– Вот он, тетушка...

Дрожащею рукой взяла она знакомый ей перстень и начала его вертеть в руке, рассматривая...

– Дорогой, чудесный перстень, – ворчала она, надевая его на указательный палец и поднося руку к глазам. – Вы не умеете ценить его. Благодарю вас, князь. – Она старалась улыбнуться и пожала князю руку.

– Вообще старые девы необыкновенно забавны, – сказал князь, – но моя тетушка уморительна. У нее такие претензии и причуды!

Я чуть не вздохнул, подумав, как все мы умеем замечать странности других, а о своих собственных и не подозреваем. Страсть князя к живописи и желание показать себя знатоком в ней – тоже маленькая странность. Впрочем, он так добр, в нем столько человечности, что ему от всего сердца прощаешь этот грешок!.. Он чрезвычайно начитан, много видел, знает миллионы анекдотов и с необыкновенной приятностью рассказывает их. Его иногда можно заслушаться. В Москве он пользуется величайшим уважением, потому что имеет огромное состояние, дает великолепные вечера, во всех парадных процессиях выступает первый в своем камергерском мундире и, главное, имеет дочь-красавицу, к которой перейдут все его богатства. Говорят, что княжна наследовала красоту своей матери. Прошло уже более пяти лет от смерти княгини, но князь не может до сих пор равнодушно слушать, когда пойдет речь о ней. После ее смерти он, говорят, полтора года не ездил в Английский клуб! Теперь вся любовь его перешла к дочери. Он, кажется, исполняет все ее желания и беспрекословно повинуетя ее воле...

Письмо к Рябинину отослано. Он, верно, получил его.

Князь читал «Вальтазара» со вниманием. Стихи ему нравятся, два стиха он даже запомнил наизусть, но вообще поэму он находит растянутой. Едва ли он не прав в этом случае. Я недавно, перелистывая ее, тоже заметил.

## IX

13 июня.

Скоро два месяца, как я не брал в руки кисть. И меня это не беспокоит. В Италии примусь я работать... О, поскорей бы в Италию! Если меня никто не выведет из того блаженного и бездейственного состояния, в котором нахожусь, я долго не проведу ни одного штриха, ни одной черты... У меня недостает сил самому вырваться из этого обаятельного мира. Признаться ли тебе... о, тебе я признаюсь, друг моего детства! что моя жизнь так, как она есть теперь, вполне удовлетворяет меня. Мой неподкупный судия, неужели, основываясь на том, что чувство художника так долго молчит во мне, ты станешь отрицать во мне призвание? Будь снисходительнее к твоему другу!.. Мне надобно оправдать общий голос, поддержать собственные успехи, – все это я знаю... Но еще впереди много, много дней; я еще молод. Ты говоришь мне в последнем письме своем, что минута творчества есть минута высшего наслаждения для художника, что перед этой минутой все наши наслаждения жалки, бедны и ничтожны. Я понимаю тебя, совершенно понимаю, хотя сам покуда не испытал этого. Когда мысль проникала меня и я брался за кисть, во мне не было того спокойствия, которое необходимо для творящего... Голова моя горела; образы, вызванные моим воображением, являлись передо мною в тумане, кисть



дрожала в руке моей. И при всем этом, уверяю тебя, надежда быть истинным художником не оставляет меня, – я не отчаиваюсь, нет! Зачем же мне бог дал душу; способную понимать все прекрасное, сочувствовать всему великому? Отчего же природа не мертва для меня? Отчего благоговейный, священный трепет проникал меня, когда я в тихий час вечера стоял на берегу моря и смотрел, как на легкой зыби его отражались огненные полосы догорающей зари? Слушай, слушай, друг мой! Сегодняшний вечер еще более незабвен в моей жизни: сегодня я ощутил в себе еще полнее то неизмеримое, бесконечное блаженство, которое чувствовал некогда там, на берегу моря...

Я сидел в саду на скамейке, стоящей на высоком холме, с которого виднеется вся синеватая гладь озера. У его берега чуть заметно колебался небольшой пестрый ялик. Цветы, посаженные на холме, оживали, утомленные, после дневного жара и приподнимали свои лучезарные, радужные головки, и сильнее начинали дышать ароматом. Солнце, медленно заходящее, просвечивало сквозь темную и густую зелень деревьев, и каждый листок становился прозрачным; светлые кружочки обозначались на желтой песчаной дорожке; вдали раздавался пастуший рожок... Не знаю, долго ли я просидел на этой скамейке до той минуты, когда услышал вблизи себя шорох женского платья. Я обернулся на этот шорох – и увидел в двух шагах от себя княжну с рыжею мисс.

– Вы мечтаете? – спросила меня княжна насмешливо.

– Отсюда вид очень хорош, так я смотрел на вид, княжна, – отвечал я как мог равнодушно. Насмешка ее была мне досадна.

– Это моя скамейка, я здесь велела поставить ее: отсюда видно мое озеро, мое любимое озеро.

Голос и лицо княжны совсем изменились, когда она проносила это. Можно было поклясться, что ни этот голос, ни лицо неспособны к насмешке.

– А вы умеете грести?

– Умею.

– Вы не боитесь воды? – И, предложив мне последний вопрос, княжна, смеясь, посмотрела на меня.

– Нет, не боюсь.

– Это вам делает честь. Хотите кататься с нами в лодке?

– Если вы позволите, княжна.

– Я прошу вас. – И она с важностью неизобразимую присела, как приседала ее бабушка во времена Екатерины Великой. После того, улыбаясь, она обернулась к своей англичанке и сказала ей что-то по-английски. Рыжая мисс значительно кивнула головой, и мы отправились к ялику.

Вскочив в ялик и отцепив его, я подал руку княжне. Ее рука была без перчатки, и ею она крепко сжала мою для того, чтобы не поскользнуться, входя в ялик. За нею неловко прыгнула мисс, пребольно упершись костлявыми пальцами в мою ладонь. Я взял оба весла, но княжна отняла у меня одно, еще раз коснувшись своей рукой моей руки.

– И я хочу грести, только нам надо грести ровнее... Пойдите: раз, два, три... ну, теперь начинайте... – Рыжая мисс взялась управлять рулем, и ялик разрезал зеркальное пространство и пошел, оставляя за собою струю.

Мы дружно ударили веслами; ялик двигался все быстрее, княжна была необыкновенно довольна общею нашею ловкостью.

– Ах, как весело, как весело! – повторяла она.

– Не устали ли вы, княжна?

– Нисколько. Какой чудесный вечер!... Для меня гораздо веселее здесь на озере, нежели в бальной зале.

Она взглянула на меня, полная внутренней тревоги, – это я видел в глазах ее.

Солнце скрылось в облако и раскалило его своим прикосновением, и облило пламенем весь запад. Мы плыли молча; только слышались однообразные всплески воды, возмущаемой веслами. Заря бледнела, ее пурпур сменялся кротким розовым светом, который отражался в воде. Лицо княжны разгорелось, локоны развились, маленькая ножка ее в черном шелковом башмаке упиралась в перекладину ялика.

– Погодите грести, отдохните, – сказала она: – я устала...

– Разве я не могу грести один, княжна? позвольте мне ваше весло.

– Нет, не позволю, – произнесла она рассеянно. Ялик остановился на середине озера.

– Как бы мне хотелось быть теперь на море, – говорила

она, – на корабле – и плыть долго, долго... Хотя я люблю это озеро, но оно слишком мало: его по – настоящему нельзя даже величать громким титулом озера... Мне всегда было так легко, когда я смотрела на морскую даль, сливающуюся с горизонтом...

Княжна задумалась и чрез минуту продолжала:

– Я увижу опять Средиземное море... Неаполь. У меня так много воспоминаний в Италии! Видите ли, и я иногда мечтаю... А вы поедете вместе с нами?

– Я думаю.

– Вы только еще думаете?

– Я еду наверное, княжна. К вашим услугам будет и живописец, и поэт.

– Какой поэт?

Я рассказал ей о предложении вести путевые записки, о Рябинине и о прочем.

– До сих пор я ничего не слышала об этом... Поэт! а скоро будет сюда поэт?

– Может быть, скоро.

– Это прелюбопытно. Я знала только одного поэта, но его теперь нет в Москве. В Италии я видела импровизатора, страшного, с черными, сверкающими глазами, с длинными, всклокоченными волосами. Он ужасно кричал и размахивал руками.

– Поэт, который поедет с нами, совсем не так свиреп.

– Право?.. Сказать ли вам, о чем я теперь думаю? Я ду-

маю о вас... то есть о том, как вы умели хорошо передать на вашей картине вечер. Я часто смотрю на вашу картину. Она стоит в моей гостиной.

Княжна опустила свои длинные ресницы и потом, как будто ожидая, что я заговорю, посмотрела на меня младенчески-простодушно. Я молчал...

– Вы думаете, – начала она, продолжая смотреть на меня, – вы думаете, что светская девушка не в состоянии чувствовать красоту в искусстве, не может оценить вдохновения художника?.. У нее есть и восторг, и молитвы, и слезы, – поверьте мне. Если найдется человек, достойный ее доверенности, она ищет только минуты, ищет только случая, чтобы высказать ему душу свою... и ей так же, как и другим, нужно сочувствие...

– Княжна, я не знаю светских девушек, я видел их изда- лека и не мог делать о них никаких заключений; но с первой минуты, как я увидел вас...

Англичанка, о которой я было забыл, вдруг пошевелилась в лодке, и я остановился.

– Ах, мои бедные перчатки! – воскликнула княжна жалобным голосом, смотря на них. – Посмотрите, как я их изорвала! – И княжна протянула ко мне свою руку, потом сняла перчатки и бросила их в воду.

Я посмотрел на безмолвную мисс. Она была нехороша, но в эту минуту показалась мне отвратительной.

– Начинает смеркаться, – сказала княжна. – Посмотри-

те, вот зажглась звезда... Мне так хорошо, что я готова бы встретить восхождение солнца на этом ялике. К тому же я никогда не видела восхождения солнца, – прибавила она печально. – Однако пора домой. Теперь вы должны взять оба весла, потому что мои перчатки в воде и я очень устала.

Княжна пересела к англичанке. Она совсем протянула свои ножки, опустила голову на грудь, руки ее лежали на коленях без движения.

Месяц уже серебряным столбом отражался в озере, когда я причалил к пристани... Она выходила из ялика, рука ее опять была в моей руке – и она стояла на дорожке сада, с минуту еще не отнимая ее у меня...

Подходя к дому, мы увидели, что помпейская комната ярко освещена.

– Бабушка, верно, очень сердится на меня в ожидании чая.

Княжна кивнула мне головой, схватила под руку англичанку – и они исчезли...

Я люблю ее, ты это видишь, – люблю страстно, безумно; чувствую, что она и жизнь для меня одно и то же. Без нее мне нет жизни и нет счастья... Ты спросишь меня: к чему поведет эта любовь? – Я не знаю. Ты скажешь мне, что я не имею никакого благоразумия, что я легкомыслен, – может быть; но, ради бога, не читай мне наставлений, я не буду слушать их; брось советы... Друг, предоставь меня судьбе моей!

## Х

15 июня.

Ваня, сын дворецкого, часто ходит ко мне и иногда своим болтаньем забавляет меня. Он пребойкий и преумный мальчик. Сегодня он мне принес от княжны «Feuilles d'automne» Виктора Гюго. Вчера у нас был страшный спор с нею о французской литературе. Жаль, что она взлелеяна французскими книгами, – Гюго и Ламартина считает величайшими гениями и ставит их чуть не наряду с Байроном, хотя из Гюго она ничего не читала, кроме его лирических стихотворений. Я истратил все мое красноречие, желая убедить княжну, что этим господам до Байрона, как до звезды небесной, далеко... Увы! все мои убеждения были напрасны. Она чуть не рассердилась на меня за них и взяла с меня слово перечесть хоть одну книгу стихотворений Гюго.

Вот почему она прислала мне «Feuilles d'automne». Я расцеловал ее посланника и спросил его, любит ли он княжну?

– После папеньки, – отвечал он, – я люблю больше всех княжну, а потом маменьку.

– Отчего же маменьку-то после?

– Она сердитая, и папенька ее боится...

Я подарил ему картинку, и он в полном восхищении убежал от меня. Развернув книгу, – вообрази мою радость, мою бешеную радость, – я нашел в ней небольшую цветную бу-

мажку вроде закладки, на которой было написано мелко русской княжны по – русски: «Прочтите стихи: Oh! pourquoi te cacher? Tu pleurais seule ici, и согласитесь, что Hugo истинный поэт...»

Не правда ли, это очень мило? Разумеется, я прочел тогда же стихи, указанные ею, и они мне в самом деле показались лучше других.

17 июня.

Получил ответ от Рябинина на мое письмо к нему. Он хочет приехать сюда немедленно. «Ну, так и быть, – пишет он, – для того, чтобы поскорей увидеть тебя, я решаюсь проскучать несколько месяцев в Москве. Жертва великая!.. Да нельзя ли мне будет жить вместе с тобою в подмосковной князя? Это, кроме других выгод, имеет и ту, что я заранее ознакомясь с его сиятельством. Отпиши мне, будет ли такая штука политична?»

Я сказал об этом князю – и он тотчас же велел приготовить комнаты для Рябинина против моих. Мысль, что он будет окружен артистами, ему, кажется, удивительно нравится.

Ту же секунду уведомил я нашего приятеля о княжеских распоряжениях и с нетерпением жду его сюда с минуты на минуту...

30 июня.

Он здесь, он приехал! Можешь себе представить мою радость!.. Вчера я было совсем собрался спать, вдруг слышу необыкновенный шум и страшную возню в коридоре: двери



передней моей комнаты отворяются с эффектным треском; раздаются шаги мерные, тяжелые, знакомые мне, и две длинные руки протягиваются ко мне для заключения меня в объятия. Я обнял Рябина от всего сердца.

После объятий он отошел от меня шага на два.

– Постой, ни слова! Дай мне сначала обозреть тебя с ног до головы, – сказал он и с обыкновенною своею важностью, нахмутив брови, начал меня рассматривать.

– Похудел! что бы это значило? в Москве толстеют... а где же твоя мастерская?..

– Я и кисть не брал в руки с тех пор, как мы с тобой расстались.

– Гм! Хорошо. В Москве так и следует. Здесь только все много говорят, а никто ничего не делает. Теперь я посмотрю твою комнату. Ба! что это? Виктор Гюго! у тебя Гюго? Ведь ты прежде сходил с ума от немцев?..

– Я и теперь сходку от них с ума.

– А эта книга зачем?

– Меня заставила прочесть несколько стихотворений княжна и хотела, чтобы я непременно ими восхищался.

– Заставила?.. княжна? а что, у нее смазливенькое личико?

– Она чудо как хороша!

– И читает стихи?

– Французские и английские, а твоих стихов она не читала.

– Моих? Я и пишу не для этих княжен, а для той, которая... Ну, да что говорить об этом? Скажи-ка, какое впечатление произвела на тебя Москва?

– Для той, которая... Поздравляю тебя, ты влюблен.

– Ни слова об этом. Что, в Москве скучно?

– Нет, ты не угадал. Эти месяцы для меня прошли, как один день. Я очень полюбил Москву.

Рябинин качал головой.

– Молодость, молодость! Что же ты нашел здесь? Местоположение, правда, недурное, довольно гористое, церкви с позолоченными главами...

– И тебе эти шутки не наскучили?

– Какие шутки? я говорю от души. Истинно-то хорошего ты, верно, здесь и не заметил...

– Чего это?

– Да что в Москве всего лучше? При этом вопросе я призадумался.

– Так и есть – не знает!

– Что же такое? Кремль?

– Вот куда зашел: Кремль!

– Калачи?

– Не то! – Английский клуб, и в нем кулебяка. Славная кулебяка! тесто сдобное, рассыпчатое, куски большие...

Узнаешь ли ты его? Вспоминаешь ли то время, когда мы сиживали вместе, с таким удовольствием внимая речам его и дивясь его способности мешать шутки с делом?

– Впрочем, я не прочь пожить в Москве, – продолжал он. – Я отдохну здесь. В Петербурге надоели мне и приятели и враги. Все значительные петербургские журналисты меня хвалили и хвалят, хотя их похвалы глупы, но все-таки похвалы. А вот недавно, – говорят, я сам не читал, – появились в журналистике какие-то проклятые насекомые, шмели – и точно слышу, жужжит что-то над самым ухом, того и гляди, что укусит. Я давно бы раздавил этих шмелей, но руку лень приподнять...

До трех часов утра просидели мы с ним, разговаривая о будущей нашей поездке в чужие края, о князе, его семействе и о прочем.

17 июля.

Князь с каждым днем начинает чувствовать более и более расположение к Рябину. Резкая, немного странная манера, вечно-таинственный вид знатока, умение действовать незаметно на самолюбие, придавая речам сухость и далее грубость, порою истинно-поэтическое одушевление – все это вместе, чем вполне обладает наш приятель, действует необычайно на князя...

Рябинин ходит с ним по залам и останавливается беспрерывно перед картинами, восхищается ими и уверяет, что таких драгоценностей, как у него, нет даже и в петербургском Эрмитаже. Однажды мы втроем ходили в большой зале. Рябинин посмотрел на одну картину, остановился, поднял руки вверх и с жаром воскликнул:

– Это оригинал, князь, поверьте мне, оригинал! я узнаю в этой картине Франциска Альбани. У него вся манера Анибала Карачча, так что иные произведения Альбани невглядевшийся глаз может смешать с созданиями Карачча. Хотя в Альбани нет своего, типического, но он замечательный мастер. Позвольте, дайте взглядеться в эту фигуру. Ба! да это редкость... Венецианской школы... Тинторет! настоящий Тинторет!.. Славная у вас галерея, князь... И знаете ли, что я сказку вам? я рад, что у вас мало картин немецкой школы... Хороши они, эти Дюреры, но можно обойтись и без них. Не люблю немцев, откровенно признаюсь вам, – народ отвлеченный... Один Шиллер, да и тот не немец, а итальянец...

– Как итальянец? – спросил удивленный князь.

– Натура южная; здесь вот, в левом-то боку, горячо, пламенно... С каким омерзением смотрел он на своих злодеев, вызванных им на божий свет из глубины поэтического духа, и с какою любовью на свои чистейшие создания, на маркиза Позу, на Телля! Его драмы – это вдохновенные импровизации. Итальянец! настоящий итальянец!

– А Гете? разве вы Гете ставите ниже? – Князь пристально посмотрел на Рябина.

– Гете – великий гений, так; но в нем есть душок этой немецкой философии, которая больно мне не по сердцу.

– Да, правда, – заметил князь, – вся эта философия – заносчивость, бред; однако Гете... Но растолкуйте мне, откуда

вы набрались таких сведений в живописи, ни разу не ездив в чужие края? У вас глаз необыкновенно меткий и верный.

Рябинин улыбнулся.

– Откуда набрался? Читал, и читал много и долго, не пугался книг *in folio*; глядел, и глядел пристально на то, что было у меня перед глазами; проводил недели и месяцы в Эрмитаже; ловил художников прямо с парохода, только что из Италии, и расспрашивал их о чудесах искусства, соображал с тем, что вычитал, и помаленьку входил в мир художественный. Мои друзья, князь, вот они, – и Рябинин положил руку на мое плечо, – живописцы, музыканты, все артисты... Люди с дарованием как-то любят меня и бегут ко мне, а я благодарю за это бога!

– Жаль, – сказал князь, – право, жаль, что я не имел удовольствия прежде познакомиться с вами...

– А я вас знал и прежде, князь, по слухам, и уважал вас за вашу любовь к искусствам и за внимание к нам, бедным артистам. Спасибо вам за то, что хотите меня ввести в самый храм, где священнодействовали великие художники, в эту благословенную Италию. Без вас у меня не было средств войти в этот храм.

Князь с большою приятностью посмотрел на Рябинина.

– Я уже говорил г. Средневскому, что мне известен каждый уголок этого храма. И мы будем вместе ходить везде... Наши путевые записки могут быть очень интересны, не правда ли?

– Это будут не простые записки... (Рябинин подошел к князю и взял его за руку), а монументальная книга для художеств!

Глаза князя заблистали от удовольствия.

– Хочется мне посмотреть в Болонии на св. Петра Гвидо Рени, – продолжал Рябинин, задумываясь, – разные толки об нем: иные его превозносят до небес, другие умеренно отзываются о нем...

– Как? кто же из видевших эту картину может без восторга говорить о ней? – произнес князь. – Это *chef d'oeuvre*. Голова апостола Петра и другого апостола, который утешает его, это такие головы! в них столько выражения! К тому же нежность колорита, отчетливость в отделке... Помилуйте, да эта картина – чудо!

– Так, я заранее знал, что вы это скажете. Все истинные знатоки художеств, а не самозванцы, отзываются о св. Петре, как вы. Уж эти мне самозванцы-любители! Я человек простой и откровенный, князь, – вы это видите, – и этих господ отделяваю по-своему, без жалости, кто бы они таковы ни были...

– Так и должно; вы делаете очень хорошо, – подхватил князь, – обман надобно всегда изобличать!

– Неужели, – сказал я Рябинину, когда мы остались с ним вдвоем, – неужели тебе не жаль морочить князя и так недобросовестно льстить его слабости к художествам? Мне всегда досадно, когда ты так говоришь с ним, как говорил сейчас.

Знаешь ли? в нем столько хорошего, что, будь какая-нибудь возможность, я открыл бы ему глаза, я показал бы ему смешную его сторону...

– Долго ли ты будешь ребячиться? – отвечал мне чужак наш, – пора перестать! Брось нелепую мысль исправлять людей. Невинное дитя мое, если ты вздумаешь выводить их, по своему добродушию, из заблуждений, в которых они погрязли, как в тине, горе тебе! они нападут на тебя и растерзают тебя... И что за дело тебе до других? Пусть тешатся своими погремушками; бренчи и ты перед ними, а исподтишка улыбайся. Тогда они будут хвалить и превозносить тебя. Я уверен, что князь теперь от меня в восторге, а заговори-ка я с ним другим языком, он посмотрел бы на меня с презрением и, встречаясь со мною, отворачивался бы от меня... Не забудь, что он нужен нам. Мы его станем водить за нос; он будет нами доволен, мы им, а русская публика всеми нами за дешевое, но великолепное издание путевых записок с гравюрами, на веленовой бумаге...

И Рябинин прав. На днях князь сказал мне, пожимая мою руку: «Я благодарен вам за знакомство с Рябининым. Он имеет глубокие познания в художествах. Правда, наружность его несколько странна, но зато он так умен и так оригинально обо всем судит!»

При княжне Рябинин чувствует себя как бы неловким. Ты знаешь, что его смутить трудно, а перед нею он явно смущается.

Один раз, князю и мне, рассказывал он содержание своего нового романа, который давно намеревается писать. Мы слушали его с большим вниманием, потому что он говорил с увлечением; вдруг в дверях появилась княжна... Рябинин увидел ее и остановился на самом интересном месте своего рассказа. Через минуту он продолжал, но одушевление его исчезло, он старался кончить рассказ свой как можно короче.

В другой раз в присутствии княжны зашел разговор о музыке. Князь человек совершенно артистический и меломан, между прочим. Для него итальянская опера – верх возможного совершенства.

– Выше Россини, – говорил князь, – выше его я никого не знаю в музыкальном мире. Моцарт и Бетховен прекрасны, слова нет, да в них много, если так можно выразиться, дикости. Правда, моцартовский «Дон-Жуан» создание колоссальное... но в Россини все: и сила, и грация, и нежность, – это музыкальный Рафаэль. Его «Танкред», «Семирамида», «Donna del lago...»

– Да, князь, люблю и я Россини. Звуки этого итальянского чародея полны и роскошны, как морские волны, и в них сладко нежиться... Средиземное море, купол св. Петра, звуки Россини и торкватовы октавы – вот поэзия жизни. Впрочем, что касается до музыки, то мы должны обратиться к княжне. Все наши мнения уничтожатся перед ее музыкальным авторитетом...



И с низким поклоном он обратился к княжне. Княжна взглянула на него и этим взглядом молча спросила у него, зачем он беспокоит ее?

– Я летом не занимаюсь музыкой: я гуляю по саду и езжу верхом, – сказала она по-французски, не обращая ни к кому.

Князь и Рябинин вскоре после этих слов вышли из комнаты, а я подошел к ней.

– Вы бываете очень немилосердны, княжна.

– Немилосердна?

– Он, право, заслуживает, чтобы вы обращались с ним снисходительнее...

– Кто же это он?

– Рябинин, княжна.

– Как он смешно говорит и какая у него страшная и большая запонка на галстухе, точно фермуар!.. – произнесла она протяжно и пресерьезно.

– Я не думал, чтобы вы обращали внимание на одну только наружность. Он, может быть, одет, княжна, не так, как одеваются светские люди, не имеет их ловкости, но он человек вовсе не дюжинный, он...

– Ах, боже мой! – воскликнула княжна в нетерпении, – что мне за дело до всего этого?..

– Отчего же такое оскорбительное невнимание к человеку, который...

– К человеку, который мне кажется скучным... Неужели

все ваши поэты так же милы, как он?

Я ничего не отвечал на этот вопрос.

– Вы хотите, – продолжала она, – вы хотите, чтобы я со всеми была одинакова, чтобы я всем равно с пошлою доверчивостью, с детским простодушием высказывала мой образ мыслей? Я могу быть доверчива, я буду откровенна, но с тем, кого уважаю, кого... А ваш господин Рябинин, хотя он и пишет стихи, по вашему мнению, верно лучше Ламартина, все-таки смешон. И как он страшно поднимает указательный палец, когда заговорит, и как забавно хмурит свои брови. Скажите ему, что это совсем нехорошо... – И с этим словом она вышла из комнаты, оставив меня одного.

Слышишь ли ты? Княжна только с тем откровенна, кого она уважает, кого... Она не договорила... Растолкуй мне, ради всего на свете, что это значит? что она хотела мне сказать этим? Я не смею думать, чтобы я мог заслужить ее уважение; я был бы дерзок, если бы мне вошла в голову мысль, что она любит меня... По крайней мере, со мной она часто говорит довольно серьезно, она не считает меня недостойным своего общества, на меня она не смотрит с такою гордою недоступностью, как на Рябинина. Чему же приписать все это? Тысячи сомнений и надежд попеременно раздирают и волнуют меня.

Я похож на утопающего, который то видит берег и спасение и одушевляется на минуту, рвется к нему, к этому берегу, напрягая последние силы; то, отчаянный, предается ги-

бельным волнам, влекущим его в бездну... Мне и горько, и весело... Я, право, не знаю, что со мной...

Я забыл сказать тебе, что старушка с усиками к Рябинину питает еще большее неблаговоление, чем ко мне.

– Что, князь, этот длинный человек, который приехал к вам недавно, стихотворец, что ли? – ворчала она, искоса по-смотрев на меня.

– Он теперь один из первых наших поэтов, – отвечал князь.

– Из первых? а какой имеет чин?

– Не знаю; он нигде не служит.

– Не служит? Что ж, он баклуши бьет да стишки пишет?..

Первый стихотворец! Да в наше время первые стихотворцы были и первыми государственными людьми... Покойник Гавриил Романович был министр и действительный тайный советник, человек, пользовавшийся милостью в продолжение трех царствований. Императрица особенно изволила его отличать от всех других: он был любимым ее статс-секретарем. Вот будто сейчас вижу, как он у княгини М\*. читает свои стихи на смерть графини Румянцевой. Когда он продекламировал:

Румянцев молнии дхнет сугубы, Екатерина – тишину... – он, как теперь помню, посмотрел на меня, а у меня слезы так и лились...

Не правда ли, старушка забавна?

# XI

25 июля.

На днях княжна опять завела со мною речь о французской литературе. Гюго она уже пожертвовала мне, но Ламартина сильно отстаивает. Я решительно объявил ей, что она в музыке гораздо далее, чем в поэзии. «Но я не могу вам передать на словах всего, что я думаю о его таланте, я вам напишу... – сказала она мне, – я постараюсь вам изложить все мои мысли о нем, не знаю только, сумею ли. Впрочем, чувствую, что я буду дурная его защитница».

Я принял эти слова за шутку, но вчера ко мне пришел Ваня и принес от княжны «Meditations Poetiques» с заметками карандашом. В книге я нашел листок почтовой бумажки, сложенный в виде письма и весь исписанный рукою ее по-французски... Так она не шутила? О, великий, гениальный Ламартин! без тебя она не стала бы писать ко мне! Жадно пробежал я этот листок – и потом положил его в карман, взял книжку Ламартина, присланную ею, и отправился ходить... Мне захотелось еще перечесть ее строки где-нибудь подальше от дома, на свободе... В версте от княжеского дома, живописно извиваясь, протекает небольшая речка; один берег ее довольно холмист и покрыт мелким березовым кустарником, между которым растет шиповник и дикая малина. Среди кустарника возвышается одинокая береза, пощаженная

топором и на свободе широко разросшаяся. От нее идут тропинки в разных направлениях вниз к реке. Здесь деревенские мальчики и девочки собирают малину. Береза эта видна издалека, и, гуляя, я часто отдыхаю в тени ее развесистых ветвей и смотрю на противоположный берег, где желтеют поля, засеянные овсом и рожью, да вдали чернеет деревня...

И в этот раз я отправился к привычному месту моего отдохновения, к этой березе. День был сероватый. Солнце на минуту выглядывало из-за облаков и потом тотчас пряталось. Я расположился под березою, вынул из кармана листок княжны и в таком уединении принялся читать его. Я не сомневался, нет, – у нее глубокая душа, я говорил тебе об этом и прежде... Что за беда, что она увлекается французскими фразами: ведь и мы с тобой эти фразы не различали некогда от истинной поэзии!

Я читал и перечитывал ее строки; в голове моей опять забродили странные мысли, несбыточные картины... И все это было для меня правдоподобно. Теперь я краснею, вспоминая о странном состоянии, в котором находился тогда. Друг! не суди меня строго холодным рассудком, не морщись, читая журнал мой с ледяною важностью мудреца, не сожалей обо мне, как о заблуждающемся мальчике. Мне нужно теперь твое сочувствие, мне необходим в эту минуту ты, с твоею бесконечно-любящею душою!..

Вдруг вблизи меня кусты зашевелились, я привстал и увидел любимца княжны, Ваню, который за час перед этим при-

нес мне от нее книгу. Он, сбегая по тропинке к реке, несколько, кажется, не подозревал, чтобы кто-нибудь за ним подсматривал. Меня удивило, что он так далеко от дома и один. Сбежав подгору, Ваня стал на колени и наклонился к воде, чтобы спустить кораблик, склеенный искусно из картонной бумаги, – свою новую игрушку, которую он показывал мне в восторге накануне... Спущенный на воду кораблик заколыхался и скоро остановился без движения... Ваня стал поправлять его палочкой, но кораблик его не слушался и не двигался с места. Он бросил палочку в воду и лег на песок, облокотясь на руку. Я спустился тихонько вниз и из-за куста смотрел на него. Он лежал серьезно, будто думал о чем-то, не спуская глаз с речной поверхности. Наконец вскочил, поднял камень и с досадою бросил его прямо в середину кораблика – и кораблик вместе с камнем пошел ко дну. Ваня засмеялся, бросил еще камень в воду и хотел бежать на гору, – но я вышел к нему навстречу – и он, удивленный, остановился.

– Ваня, как ты это очутился так далеко от дома? – спросил я его.

– Я ушел тихонько. Маменька все велит мне гулять в палисаднике, а палисадник такой узенький, так скучно. Маменька велит мне спускать мой кораблик в пруде, а пруд зарос травой...

– Зачем же ты утопил свой кораблик?

– А затем, что он стоял на одном месте. Мне хотелось,

чтобы он плавал.

– Он не мог плавать, потому что нет ветра...

– Коли не мог плавать, так и не нужно его. Когда вы поедете с княжной кататься по озеру, вы возьмете меня с собой?

– Как с княжной? Отчего же ты думаешь, что я непременно поеду с нею?

– Она вас любит, так вы с нею и поедете.

– Разве она меня любит? Кто тебе сказал?

– Она меня про вас все спрашивает, я ей рассказываю, как у вас бываю. И меня она любит, и про меня все спрашивает у папеньки.

Я расцеловал Ваню, я почти готов был поверить словам его... Он дитя? да ведь иногда дети видят лучше взрослых... Ваня вырвался от меня: ему надоели мои жаркие ласки – и он убежал.

Было около четырех часов, когда я возвратился домой и пошел в комнаты к Рябину, но он уехал в Москву. Жизнь деревенская, кажется, не по нем. Он не шутя полюбил Английский клуб и иногда возвращается оттуда часу в восьмом утра, проиграв целую ночь в палки.

«Палки игра занимательная, – говорит он. – Почему изредка не позволить себе подурочиться? Это мой отдых от занятий мысленных. Когда голова отягчится от напора идей, я беру в руки карты, и голове станет сейчас легче».

Не найдя Рябина, я отправился к князю, и у большого подъезда встретил дворецкого. Он шел с свойственною ему

важностью в белом накрахмаленном галстуке.

– Александр Игнатьевич, мое почтение, – сказал он, кланяясь мне. – Где, сударь, гулять изволили? Правда, вы домосед, не то, что г. Рябинин: по его милости так четверню за четверней и гоняют в город. Сами знаете, теперь жар; лошади хорошие, непривычные к такой гоньбе; да и, по-моему, деликатность надо знать... И что такое в нем князь находит? Удивляюсь и вам тоже, Александр Игнатьевич, ведь это вы, сударь, его выписали?

– Есть кто-нибудь наверху? – перебил я его.

– Г. Анастасьев. Он на днях только приехал в Москву, и то, говорят, ненадолго. Живет он более в чужих краях. Я знавал его покойного родителя; и его видел такого маленького, с моего Ванюшу, не больше, а посмотрите-ка теперь: молодец, я вам скажу. Покойный старик жил барином, открыто, но при всем том расчетливо, хоть у него стояли сундуки, битком набитые золотом и серебром, хоть у него денег-то куры не клевали, зато теперь у сынка несметные суммы, между нами сказать.

Кто не знает про чудовищное богатство Анастасьева? Странную историю о том, какими средствами разжился его дедушка в начале царствования Екатерины, как потом он стал счастливо торговать и хитро ворочал огромными капиталами, слышал и я несколько раз от матушки да от старушек, ее приятельниц. В этих рассказах былъ простодушно перемешивалась с самыми смешными небылицами. Богат-



ство всетворяющее и всепокоряющее доставило отцу Анастасьева в молодых годах мальтийское командорство и с ним великолепный красный мундир. Он сделался человеком знатным, и все позабыли о его происхождении и о том, что дворянский герб его так недавно вышел из герольдии, что на нем еще не успели обсохнуть краски.

Человек сметливый, пользуясь благоприятными обстоятельствами, для придания себе еще большего величия, он породнился с одним несостоятельным графом, и таким образом сын его сделался неотъемлемою принадлежностью большого света.

В последнее время, в Петербурге, когда я вел, как тебе известно, от внутренней пустоты жизнь бродячую и безумно разгульную, среди самых свирепых петербургских людей, — я составил себе по словам их какое-то странное и фантастическое понятие о молодом Анастасьеве. Они все, даже и старшины их, питали к нему большое уважение; они говорили, что он наделен всеми блистательными и неоцененными качествами героев проходящего поколения, нимало не походя на них, то есть что может выпить бутылку шампанского, не отнимая ее от губ и не поморщиваясь; согнуть полуимперал без всякого усилия; выстрелить в сердце туза из пистолета на ужасном расстоянии; иметь в одно время десять любовниц в обществе и по крайней мере пять на сцене, которые бы все вместе и каждая порознь, тайно или явно, были от него в восторге; но что он не пользуется ни одним из этих

неоцененных качеств: к сожалению, пьет без особенной охоты, силой своей никогда не хвастает, напротив, даже кажется слабым, изнеженным; на женщин смотрит с изумительным хладнокровием, без всякого, однако, желанья корчить разочарованного, и вот чего, несмотря на все его достоинства, они не прощали ему – выезжает в общества!

Ко всему этому прибавляли, отдавая ему заслуженную дань удивления, что он одевается с таким вкусом, как никто, да еще хвалили его за то, что в продолжение года он никак не более двух месяцев проводит в России.

Ты поймешь, как после таких описаний мне любопытно было увидеть Анастасьева.

И я увидел его, и он, как это всегда случается, когда мы заранее составляем в голове идеал человека, почему-либо интересующего нас, вовсе не похож на этот идеал. В нем нет ничего такого, что бы поразило с первого взгляда. Среднего роста, более худощавый, чем полный, бледный, с темными коротко подстриженными волосами, он не отличается своею наружностью ничем от других: взглянув на него, никак не представить себе, чтобы он мог совершать те исполинские подвиги, о которых я слышал. У него, как и у многих, на тоненьком шнурке висит тоненький черепаховый лорнет; только, надо отдать ему справедливость, он действует им с особенною ловкостью: вставляет его в глаз без всяких усилий и смотрит в него без малейшей гримасы; в покрое его черного сюртука нет ничего нового, но, правда, он сидит на нем с

изумительною ловкостью; в его движениях, в его разговоре непринужденность доведена до небрежности, как у многих, но эта небрежность в других неприятна, а в нем ничего. Я думаю, это оттого, что он не желает казаться чем-нибудь, а кажется тем, чем есть в самом деле. На княжну смотрит он так спокойно, так равнодушно, как на самую обыкновенную девушку, – на нее-то, более мой! перед которой

...остановишься невольно...

После обеда князь, княжна и Анастасьев пошли в сад, а я, стоя на балконе, смотрел на них, то есть смотрел на нее. Она взглянула вверх, увидела меня и, улыбаясь, кивнула мне головою... Что ты скажешь о ее внимательности ко мне? Может быть, она... но нет, ты назовешь меня мечтателем, а для меня это слово ужасно противно, особенно с тех пор, как княжна спросила меня насмешливо: не мечтаю ли я? Мне кажется, что между мечтанием и сантиментальничаньем нет никакой разницы. И в том, и в другом слове заключена идея возмутительного бессилия и растреления, и то, и другое слово отзывается беспутностью XVIII века и его кощунством, соединенным с нежными ощущениями...

Однако она обернулась назад и улыбнулась мне: это я видел не в мечте, а наяву. Она знала, что я буду смотреть на нее, иначе для чего бы ей было обертываться, для чего бы ей глядеть наверх?.. И я точно смотрел на нее, тихо идущую по

темной аллее, в белом платье. Хорошо белое платье на всякой девушке в саду, в зелени, а на ней...

Но вот эта несносная старушонка притащилась на балкон.

– Где князь? – проворчала она, смотря на меня.

– Князь в саду, – отвечал я.

– И княжна в саду?

– Да, вон они идут по аллее.

Старушка приставила свою руку в перстнях к глазам и смотрела в сад.

– А третий-то кто?

– Анастасьев...

– А-а-а! Что это он и идти-то прямо не может, весь раскис.

Это молодые люди! Господи боже мой!.. Потрудитесь-ка мне поставить большие кресла сюда.

Нечего делать, я должен был подставлять ей кресла.

– Поближе к перилам, так, хорошо; покорно вас благодарю, батюшка. – И, рассевшись в креслах, она начала мыслить вслух: – Отчего же это в наше время молодые люди были вытянутые, как струночки, сидели прямо, говорили, обращаясь к каждому с аттенцией, перед старшими показывали особенное уважение и свое мнение произносили после всех, скромно, с приличием, с боязнью не проговориться, не сказать что-нибудь лишнее?..

Действие летнего теплого ветерка прекратило ворчанье старушки; она сначала потупила глаза в свои перстни и начала произносить тише, тише какие-то невнятные слова, по-

том совсем закрыла глаза, но еще губы и подбородок ее долго шевелились.

Я оставил балкон, пройдя на цыпочках мимо дремлющей старушки.

Скоро приехал Рябинин. Он на этот раз после обеда не хотел оставаться в клубе, потому что дня три перед этим порядочно проигрался.

– Сегодня в клубе, – сказал он мне, – обед посредственный... – (Я нарочно от слова до слова передаю тебе его разговоры со мною, чтобы ты мог живее и во всей подробности представить его) – весьма посредственный; хорошо еще, что у меня аппетита не было, спросил себе бутылку мадеры и один провозился с нею. Рюмка за рюмкой, и раздумался я о тебе.

– Что же ты думал обо мне?

– Много и очень много! Ты мне кажешься подозрительным, – и он погрозил мне.

– Подозрительным? – спросил я.

– Не притворяйся! Ты понимаешь, в чем дело. Ты разлюбил меня, а иначе был бы со мною откровеннее.

– Растолкуй же мне, что ты хочешь сказать?

– Гм! растолковать!.. – Рябинин положил руки на мои плечи и сказал мне протяжно: «Посмотри на меня прямо, открыто».

Я не мог не рассмеяться, смотря на него.

– Смеешься, плут?.. На твоём лице я читаю все, все; от

меня не укроешься. И зачем бы, казалось, укрываться от меня? Я передаю тебе то, что еще и не выработалось в моей внутренней лаборатории, сокровенное сердца моего тебе известно, а ты себе на уме... Но предисловия все в сторону. Я знаю, ты любишь. Так ли?

– Да напрасно ты думал, что я стану перед тобой скрываться.

Рябинин задумался и опустил голову.

– Кого любишь, спрашивать мне нечего – я знаю. И мне это горько, потому что любовь твоя не такая, как бы должна быть... Не возражай мне... Морали я тебе читать не буду, не бойся, а объявить тебе должен, что ты затеял игру опасную. Эти княжны по большей части отличные куколки, нарядные, красивые. Их поставить бы под стеклянный колпачок, да и любоваться ими. Издалека, в театре, в экипаже, на балконе, на гулянье смотри на них сколько душе угодно. Пожалуй, люби их, но чистою любовью художника, как любишь отличные картины в богатой галерее. Влюбляться же в них, как влюбляются молодые и пылкие люди, сохрани боже и помилуй! Притворяться влюбленным, для какой-либо цели, почему не так, – против этого я ни слова.

Эта длинная тирада взбесила меня.

– Притворяться для какой-нибудь цели? – закричал я, – это подло и низко! ты сам не знаешь, что говоришь...

– В жару не может и шутки понять! Молодая кровь!

– Уверять, – продолжал я, – что все княжны не более, как

нарядные куклы – старо и нелепо. И почему ты их знаешь? разве ты был в большом свете? разве только одно среднее сословие, по-твоему, пользуется привилегиями на глубину души, на истинное чувство?..

– Погоди! – с дьявольским хладнокровием отвечал мне Рябинин, – ты забросал меня словами. Я далек от такой нелепости; положим, что я говорю неправду, что все эти княжны, без исключения, так же хороши внутренне, как и наружно; уверен, что твоя княжна выше и глубже их всех, но я тебя только спрошу одно: если любовь твоя не очищена от земного сора, к чему поведет тебя она? Отвечай.

Вопрос этот я предвидел, и на него я отвечал то же, что некогда писал к тебе: «Не знаю».

– От не знаю происходят все беды и несчастья наши. На авось жить нельзя: надобно заранее обдумывать каждый шаг вперед – что, и почему, и для чего? Тогда только и будешь пользоваться спокойствием и счастьем...

– Когда любишь, тут не до расчетов, любезный! только люди бездушные и ограниченные...

– Главное, не горячись – и выслушай меня, поуспокоив свое волнение. До сих пор я молчал; но ты вынуждаешь меня выговорить то, чего я доселе никому не выговаривал и что бы унес с собою в могилу. Сердце мое давно указало мне на предмет высокий и недоступный для меня и, сильно забившись, сказало: вот мой выбор, повинуйся мне! И я повиновался ему, и полюбил избранницу моего сердца; моя любовь

к ней изливается в песне, в молитве, в благоговейном созерцании красоты ее; эту любовь я невольно служу искусству. Бывало, идешь, она повстречается, взглянешь на нее, и от этого взгляда рождается стихотворение. Сила воли сняла с любви моей земную, чувственную кору и улетучила ее, одухотворила. Такая любовь светла и возвышенна, ее прячу я от людей. Это моя святыня, а остальное все в жизни моей – математика, расчет. Стало быть, видишь ли, не одни люди ограниченные рассчитывают. Люби свою княжну такую любовью, таи это чувство от всех, даже от нее самой, и живи им, и просветляйся им. Такая любовь поведет тебя ко благу, а всякая другая к гибели. Но, лелея в душе небесное, не пренебрегай земным: земное само по себе. Посмотри на меня: я умею сочетать одно с другим. За доброе же слово не сердись. Обнимемся и поцелуемся.

Мы поцеловались.

Речь Рябинина очень красноречива; только в ней больше фраз, чем истины, оттого она не произвела на меня надлежащего действия. Я сам некогда, в спокойном состоянии, рассуждал о неземной любви, но теперь ясно для меня, как божий день, что любовь, о которой толковал Рябинин, не любовь живая и действительная, а просто мечта смешная и ребяческая. Мне кажется, он меня мистифицировал. Желал бы я узнать предмет его вдохновений, на который указало ему сердце. Но, статья может, этот предмет не существует, и, как новый Петрарка, он создал себе свою Лауру для прида-



ния себе еще большей таинственности, которую он так любит окружать себя...

## XII

7 августа.

Трудно передать тебе то состояние духа, в котором я нахожусь последнее время. Я сделался ко всему нестерпимо равнодушен; книги ужасно надоели мне, я не могу ничего читать. Даже если бы кто-нибудь пришел и сказал мне: «Вот произведение Гете, недавно найденное; оно выше всех известных его произведений, вся литературная Европа от него в страшном волнении, о нем только и говорят и пишут», — я выслушал бы все и не взял бы труда взглянуть на такое поэтическое чудо. Мало того, если бы дрезденская Мадонна очутилась сейчас перед моими глазами, я взглянул бы на нее без всякого участия, как на те масляные картины в рамах, которые носят в Москве по Тверскому бульвару, а в Петербурге по Невскому проспекту. Если бы ты вдруг предстал передо мною, перенесенный из Рима в подмосковную какими-нибудь чародейскими силами, — я и на тебя, кажется, бесценное сокровище мое, не обратил бы ни малейшего внимания... Я только и живу ею, только и перечитываю ее листки, и смотрю на нее, и слушаю ее; для меня только одно искусство вполне существует в эту минуту — музыка. Музыка наполняет душу мою стремлением необъяснимым и бесконечным. И чем более вслушиваюсь я в ее пение, тем более расширяется во мне это отрадное чувство любви, и грудь, ино-

гда стесняемая боязливым предчувствием, начинает дышать свободно... Я жажду звуков, божественных звуков... таинственный мир окружает меня, когда раздаются эти звуки... я блаженствую.

Бедная кисть моя! Лежи в бездействии, покрытая пылью. я долго не прикоснусь к тебе. Бог с тобою! ты ни разу не доставила мне таких благодатных минут!

Князь несколько раз шутя замечал мне, что во мне он находит все признаки истинных художников и между прочим необыкновенное рассеяние.

– У кого беспрестанно носятся в голове различные мысли и образы, тому немудрено быть рассеянным, – сказал он мне. – Я это совершенно понимаю.

У меня мысли и образы! Если бы он знал, что у меня нет другой мысли, кроме мысли о ней, о его дочери; что передо мною нет другого образа, кроме ее...

Рябинин исподтишка, кажется, посмеивается надо мною; сидя же со мною наедине, он уже не читает мне проповедей, но молча помахивает головой и порой, грозя пальцем, произносит с расстановкою:

– Странно! тебя и узнать нельзя; ты стал ни на что непохож.

В Английском клубе он свел знакомство с одним из самых толстых московских франтов, который замечателен своим париком *a la poujik*, отлично сделанным, и своим необычайным знанием в гастрономии. Этот господин – толстый

франт, у себя дома обедает от пятого до девятого часа, а в клуб приезжает обедать, когда все выходят из-за стола, и полвечера остается в столовой зале.

– Люблю его, – говорит Рябинин, – ест славно, с аппетитом; на него смотреть любо. Какой у него ростбиф! а вина, вина – каких нет в целой Москве! Чудесный человек!.. Такими людьми пренебрегать не должно: еда – не последнее в жизни...

Привычка мистифицировать у Рябинина дошла до такой степени, что он, забываясь, говорит и со мной так же, как с людьми малознакомыми, которых он хочет удивлять и поражать.

Он ничего не знает о нашей литературной переписке с княжнюю. На первый листок ее ко мне о Ламаргине я отвечал ей предлинным посланием и после того получил от нее три письма. Я могу назвать эти листки ее, адресованные ко мне, письмами. Не так ли? В них идет речь не об одной литературе. Она так добра, что делает часто отступления от главного предмета, и сколько прекрасного, поэтического в этих отступлениях... В них виден ее свободный, самостоятельный дух, ее независимость от пошлых светских мнений. Некоторые строчки заставляют меня крепко задумываться; я вчитываюсь в них – и то, что живет во мне, как предчувствие, как возможность, начинает будто осуществляться, переходит в явление действительное. Я не убежден, что она любит меня, но не сомневаюсь в том, что она отличает меня от других.

Я счастлив, слишком счастлив, и в самые страшные минуты недоумения я все счастлив... она отличает меня от других!..

Теперь не нужна мне эта известность, которой добивался я изо всех сил, не нужна мне и слава, некогда в жарких юношеских грезах являвшаяся мне во всей лучезарности. Все это так бедно, жалко и ничтожно! Если бы она сказала мне: «Брось, свое искусство, я не хочу, чтобы ты был живописец, иди за мною», – я бросил бы все и пошел за нею. Любить – высшее назначение в жизни... Да... Но я слышу твой голос, ты мне произносишь свой тяжкий приговор, ты изгоняешь меня из светлой храмины искусств... Погоди, друг... Может быть, я еще не в состоянии отказаться от искусства; может быть, все, что я сказал тебе сию минуту, ложь, – не верь мне. Расстанусь ли я навсегда с моею кистью? Нет! В Италии, обновленный, примусь я за нее снова и не обману тех надежд, которые ты, друг, возлагал на меня, помнишь ли? давно, давно... Обо Мне опять заговорят...

Что ты не пришлешь о себе никакой вести? Не сердит ли ты на меня? Подвигается ли твоя картина? Окончишь ли ты ее к моему приезду? Последнее письмо твое и первое, полученное мною здесь, произвело на меня самое приятное впечатление. Спасибо тебе за славные рассказы о твоём чужеземном житье... Ты требуешь от меня подробностей о моей жизни?.. Журнал мой, который я веду довольно беспорядочно и отсылаю к тебе аккуратно, нельзя, я думаю, упрекнуть в недостатке подробностей, а скорее в излишней словоохотли-

вости... Что делать? Мне хочется передать тебе все; ты вы-  
звался слушать, так слушай же, добровольный мученик мой!

...Она отличает меня от других; но меня беспокоит Ана-  
стасьев. Он приезжает сюда всякий день... Не называй бес-  
покойство мое ревностью. Могу ли и смею ли я ревновать ее?  
К тому же этот Анастасьев, по-видимому, холоден, как лед;  
он сидит возле нее, он говорит с ней, но так нехотя, будто для  
того, что надобно же говорить с кем-нибудь и о чем-нибудь.  
Равнодушие его ко всем, ко всему изумительно, как будто  
для него нет в жизни ничего нового, как будто он все ви-  
дел, все испытал, – и все надоело ему. Однажды зашла речь  
о чьих-то стихах, он улыбнулся и, протягиваясь на диване,  
сказал точно сквозь сон: «Неужели находятся люди в наше  
время, которые читают стихи?.. Стихи – это пустые погре-  
мушки; стоит переложить хоть Байрона в прозу, чтобы убе-  
диться в этом». В другой раз князь спросил его, знает ли он  
остроумное замечание Леписье о Корреджио?

Он покачал головой.

– Превосходное замечание, – продолжал князь: – «Кор-  
реджио, – говорит Леписье, – не хотел подражать никому, а  
Корреджио никто не мог подражать».

– Может быть, это остроумно, – отвечал Анастасьев, –  
только не знаю, справедливо ли? Я никогда не брал на себя  
труда изучать ни Рафаэлей, ни Корреджей; это очень скучно,  
да к тому же и отнимает много времени.

Князь немножко нахмурился, а Рябинин наклонился к

моему уху и шепнул:

– Иностранные-то журналисты, видно, не лучше наших. Этого господина нарекли они просвещенным любителем художеств. Видишь ли, как важны деньги? С деньгами дадут тебе какой хочешь титул.

Нет, Анастасьев не может нравиться княжне, – ей, полной жизни, для которой нужна и радость, и грусть, и нега. У нее нет с ним ничего общего, но вопрос, для чего же он беспокоит себя, делая ежедневно сорок верст сюда и назад – не разрешился для меня.

Впрочем, у меня начинает рождаться подозрение, что он в иных случаях бывает не так хладнокровен, как всегда, и посещает дом князя так часто не без цели. Дней десять тому, часу в девятом вечера, возвращаясь из сада, где мы ходили с Рябининым, я вошел в ту комнату, в которой первый раз увидел ее. Она сидела за роялем, как и тогда; одна рука ее лежала неподвижно на клавишах, голова ее была обращена к нему, а он, развалясь, по своему обыкновению, в креслах, что-то изволил рассказывать ей. Увидев меня, он приставил к глазу свой лорнет и посмотрел на меня довольно выразительно. Ему было явно досадно, что я вошел в комнату. Княжна заговорила со мной, и он еще раз приставил к глазу лорнет, обернувшись ко мне. В первый раз он удостоил меня своим вниманием, и то неблагосклонным.

Третьего дня после обеда я рассматривал с княжной виды Швейцарии; она поясняла мне гравюры, указывала на те ме-

ста, которые более всех ей нравились; она чрезвычайно поэтически перенеслась в прошедшее... Я, упоенный, внимал ей. И ты можешь представить себе, как мне было неприятно в такую минуту услышать голос Анастасьева, который подошел к княжне.

– Вы занимаетесь воспоминаниями?

– Да, – отвечала она холодно.

– Швейцария была бы страной довольно сносною, если бы не отзывалась первобытною невинностью, которая так нелепо отражается в пастушеских костюмах ее обитателей.

Княжна молчала.

– Я сегодня чувствую большое расположение к верховой езде, – продолжал он, – и вы не чувствуете ли того же, княжна?

– В самом деле, я поеду, – отвечала она.

– Что ж, прекрасно! мы составим кавалькаду... Где ваша мисс Дженни? надобно ее выписать... А вы поедете? – спросил он, обращаясь ко мне.

– Я не езжу верхом, – отвечал я...

Через четверть часа три оседланные лошади стояли у подъезда: около них хлопотали княжеские жокеи и конюхи; между ними прохаживался и дворецкий князя в белом накрахмаленном галстуке, в качестве величайшего охотника до лошадей.

Княжна скоро вышла в своем синем амазонском платье; манишка на груди ее была застегнута тремя бирюзовыми за-



понками, она держала в руке небольшой хлыстик с бирюзовой головкой; синий вуаль ее, откинутый назад, развевался, когда она шла... Ты простил бы мне мою безумную любовь к ней, увидев ее в эту минуту!

Она подошла ко мне и спросила, отчего я не хочу ехать? и ожидала ответа моего, приложив свой хлыстик к губам.

О, чего бы не отдал я, чтобы уметь только ездить верхом, только бы сидеть на лошади, не боясь свалиться с нее!

Я отвечал ей, что не умею ездить верхом.

– Вы шутите? – сказала она, удивленная.

– Я нисколько не шучу, княжна.

– Право? это жаль! вы не имеете понятия об одном из величайших удовольствий в жизни.

И она обратилась к Анастасьеву:

– Я готова.

– Так скоро? А я думал, что вы уже раздумали ехать. По-едемте, и я готов. – Он взял свою шляпу.

Тут только я в первый раз вполне понял, какая разница между мною и истинно – светским человеком и какая пропасть разделяет меня от нее. Я показался гадок и жалок самому себе; я стоял уничтоженный, подавленный мыслию, что она только из одного приличия не смеется явно надо мною; что наверно Анастасьев бросит ей какую-нибудь остроумную фразу на мой счет – и она улыбнется этой фразе... И холодный пот выступал у меня на лице при такой мысли.

Вслед за князем, за старушкой с усиками и Рябининым

потачился я любоваться на княжну и на него. Мы, зрители, остановились у подъезда. Княжна садилась на свою лошадь, и он поддерживал ее, он поправлял ее стремя и, кажется, коснулся ноги ее. Около мисс Дженни он совсем не так ухаживал. Потом подвели и ему лошадь, которая была гораздо бойчее дамских лошадей. Она давно копытом рыла песок и ржала нетерпеливо. Дворецкий гладил ее шею с самодовольным лицом и сказал Анастасьеву таинственно, когда тот поставил ногу в стремя: «Лошадка славная, сударь, дорогая; только сердита, не приведи бог, как сердита и боится щекотки. Извольте поостеречься».

Не слушая этих предостережений, он с ловкостью и смелостью вскочил на лошадь, но та, почувствовав на себе незнакомого всадника, стала на дыбы, замотала головой, отряхивая гриву и намереваясь сбросить с себя дерзкого. Испуганный князь закричал что-то своим конюхам; старушка затряслась от страха; княжна побледнела и поворотила свою лошадь в сторону; англичанка завизжала, и жокей схватил ее лошадь за узду; дворецкий кричал в отчаянии: «Говорил вам, сударь, что эта лошадь боится щекотки!»

Я посмотрел на Анастасьева. Лицо его не выражало не только страха, далее ни малейшего беспокойства, – точно будто он лежал на диване. Конюхи хотели подбежать к нему, но он сделал знак головой, чтобы они остались на месте. Будто прикованный, не шевелясь в седле, сдавил он бешеную лошадь своими ногами и каким-то способом, не умею сказать

тебе, осадил ее, а она попятилась назад и, вероятно, почувствовав уважение к своему всаднику, остановилась как вкопанная. Тогда он тихо проехал кругом зеленой площадки. Я убедился, что слухи о его силе имеют основание. Княжна с заметным удовольствием посмотрела на него; князь прошептал: «Славный ездок»; старушка с усиками пошевелила губами; дворецкий поднял голову вверх от удивления и поправил свой накрахмаленный галстух.

Княжна кланялась Ване, который прибежал к концу общей тревоги, и погрозила ему хлыстиком. Кавалькада двинулась. Старушка с усиками заговорила:

– Не знаю, князь, как это вы позволяете своей дочери ездить верхом; мне это удивительно. Ну, долго ли до беды? пример был сейчас перед вами. Да и женское ли это дело? позвольте спросить вас. Отчего я не имела этой глупой охоты, да и никто из моих сверстниц – ни дочь князя Ивана Григорьевича, ни графиня Анна Александровна, никто!

С этим словом она с важностью подала князю свою руку, и он повел ее наверх. Анастасьев ехал рядом с княжной, немного наклоняясь к ней, как человек говорящий.

– О чем задумался? – сказал мне Рябинин. – Посмотри на сего молодого человека. – Он взял Ваню на руки и поднес его ко мне. – Видишь ли, какой умница: он ни о чем не думает. Поцелуй меня... ну...

– Как вы страшно протягиваете губы! – закричал Ваня, вырываясь из его рук, – меня княжна целует; вас я не хочу

целовать.

Рябинин опустил его на землю и обратился ко мне:

– Он счастливее, братец, нас с тобою. Его целуют княжны, а нас с тобой княжны не поцелуют.

## XIII

27 августа.

Анастасьев ездит сюда часто, как и прежде, и все так же зевает, лежит, произносит слова нехотя, приставляет к глазу лорнет; княжна, по всем моим замечаниям, решительно равнодушна к нему; обращение же ее со мною становится дружеским: она сказала мне, что ответы мои на ее литературные письма ко мне будет всегда хранить у себя... Правда ли это? для чего она говорит это? к чему мучительно раздражает во мне непреодолимое чувство любви, которая начинает страшить меня, когда я решаюсь заглядывать в себя?..

...Дурную вестъ я сообщу тебе: третьего дня князь поразил меня и Рябинина, и, признаюсь, удар этот обоим нам был очень чувствителен, потому что совершенно неожидан. Он прислал просить нас к себе утром ранее обыкновенного и объявил нам, что, по непредвиденным домашним обстоятельствам, он должен отложить свою поездку в чужие края до следующей весны. «Не пугайтесь этого, – сказал он в заключение, – прошу вас, не пугайтесь. Наши планы остаются неизменными; мы должны их привести в исполнение, и приведем. Осень и зиму, нечего делать, мы вместе поскучаем в Москве; однако я постараюсь употребить все средства, чтобы вам это время показалось как можно короче; а там, господа, на вашу родину... Италия ваша родина, не правда ли?

потому что она колыбель искусств».

Вышед от князя, мы посмотрели друг на друга очень плачевно.

– Что? как ты думаешь об этом? – спросил я Рябинина.

– А ты?

– Я, право, не знаю, что и думать.

– И я тоже. Недоумеваю, что это заставляет его откладывать поездку. Домашние непредвиденные обстоятельства? Непредвиденные обстоятельства случаются только с русскими журналистами, а я не знал, чтобы таковые случаи случались и с русскими князьями.

– Ты, верно, не останешься здесь до весны?.. Тебе Москва не нравится.

Я спрашивал это с маленькою боязнию получить ответ утвердительный. Остаться одному в доме князя мне казалось неловко; расстаться же с этим домом у меня не достало бы сил. И как я обрадовался, когда Рябинин произнес:

– Правда, что Москву я не люблю, но необходимость и собственная моя... то есть общая наша выгода предписывает остаться нам здесь. Мы должны играть роль весталок, а именно, сторожить в князе тот пламень, который зажгли в нем к превосходному литературному и художественному предприятию, к изданию путевых записок. От этих записок предвидятся нам большие выгоды. К тому же, я говорю тебе все откровенно, нынешний год в Петербурге для меня был бы неурожайный. Я перед отъездом сюда поссорился с кни-

гопродавцами. Ты не имеешь понятия об них: это торгаши. Я начал было вразумлять их, что книги не товар, а авторы не поставщики, что особенно поэты – конечно, не все – люди, призванные на землю для свершения высшей воли, что они окружены ореолом вдохновения, а поэтому торговаться с ними нельзя. Они слушали меня, разинув рты, ничего не поняли, и опять понесли свое: «Помилуйте-с, да как же не торговаться-с; господа-писатели-с очень-с запрашивают, а у нас также свой расчет-с» и прочее. Я плюнул и не захотел иметь с ними дела до времени, пусть узнают, что я могу жить и без них, а впоследствии я возвышу еще на себя цену, и они, видя, что нечего делать, дадут мне то, что я захочу.

– Эге! да я не подозревал, чтобы ты доходил до таких тонкостей.

– Так надобно, – и тебе тоже советовал и советую не пренебрегать тонкостями. Впрочем, вам, художникам, наживать денюгу легче, да и художники народ-то славный, не то, что наша братья литераторы – мелочь-то вся. С ними я решил-ся не вести компании, потому что завистники и сплетники эти за добро платят злом и, пожалуй, оклеветают тебя самым бессовестным образом. Иные из них обнимают тебя, целуют, уверяют в любви и дружбе, а отвернись только от них – они ту же секунду начинают тебя чернить и поносить, и даже предпринимать против тебя различные злоухищрения... И в голове-то у них ничего нет: начнешь читать им не стишки, а вещь солидную, например поэму или другое что – дремлют.

Художники не таковы... А! кстати, я еще не читал тебе отрывка из новой моей поэмы. Пойдем-ка домой.

От двенадцати до половины пятого слушал я Рябинина, не промолвив слова. И это только отрывок! Местами много поэтического, но все вместе утомительно. Не знаю, я ли переменялся или его сочинения, только они на меня не производят такого действия, как во время оно; увы! не приводят меня в такой неописанный восторг!

Вечером я сидел в саду, на любимой скамейке княжны, стоящей на холме, откуда видно озеро. Листья начинают желтеть и опадать; заносимые ветром, они колеблются на поверхности озера; свинцовые волны его лениво движутся; рыболовы, ныряя, с криком летают над самою водою. Небо застилается серыми облаками; трава потеряла свою изумрудную яркость... Грустно на сердце!

Долго, долго мы еще не увидимся с тобой, а может быть, и совсем не увидимся.



## XIV

3 сентября.

Перед отъездом в город князь дает всякую осень бал в своей подмосковной, и, говорят, несмотря на такое невыгодное время, когда большая часть Москвы в разъезде, на этих балах всегда бывает очень много. В этом я убедился вчера, потому что вчера был этот прощальный бал с деревнею, – деревенский бал, *bal champetre*, как называет его князь.хлопотливый дворецкий за полторы недели объявил мне об этом высокаторжественном дне, и, признаюсь, сам не знаю отчего, я ждал этого дня с большим нетерпением.

Наконец он наступил. Я проснулся ранее обыкновенного и вышел на крыльцо. Утро было холодное, но светлое; солнце еще не успело обогреть землю, и в тени на траве белел иней. В доме и около дома заметно было необыкновенное движение: в кухнях неумолкаемо и мерно стучали ножи; повара и поваренки мелькали взад и вперед по аллее в белых куртках; лакеи перебегали из одного отделения дома в другое... Дворецкий прохаживался с большою торжественностью и подзывал к себе лакеев, отдавая им приказания с нахмуренным челом, и чаще обыкновенного поправлял свой белый накрахмаленный галстух. Увидев меня, он подошел ко мне и, приподняв свою фуражку, сказал:

– Доброе утро, Александр Игнатьич! Хлопот сегодня, хло-

пот, боже ты мой, полны руки! Благодаря бога, погода благоприятствует нам, и я вам скажу, это всегда так: князь изволит назначить бал еще за две недели, говорит «в такой-то день», и в этот день всегда благорастворенная и прекрасная погода.

– Это уже особенное счастье, – заметил я.

– Точно особенное счастье. Могло случиться, что и дурная была бы погода: у бога все возможно.

– Разумеется; а скажите, любезный Демид Петрович, не знаете ли, отчего князь отложил поездку в чужие края?

Дворецкий потер лоб.

– Сам я удивляюсь: причины особенной нет; если бы, например, что-нибудь, я знал бы: князь, я вам скажу, от меня ничего не скрывает; но на этот раз, лгать нечего, такого греха я не беру на душу, не знаю. Эй, Владимир! – закричал он безавшему лакею, – расставьте канделябры в столовой – сейчас же. Я иду вслед за тобою... До свидания, Александр Игнатич! дела, дела, я вам скажу, не оберешься сегодня! Дорога каждая минута...

В общих утренних приготовлениях одна княжна не принимала никакого участия. Она сказала мне, что ей совсем не нравятся московские балы с тех пор, как она провела одну зиму в Петербурге, а другую в Вене...

В девять часов дом и сад князя горели огнями, и, верно, далеко в окружности виднелось зарево, пылавшее в этот вечер над селом Богородским...

Долго толкался я в танцевальной зале; мне хотелось ан-

гажировать княжну, но я не решался, боясь обратить на себя общее внимание; я думал, что живописец, танцующий на аристократическом бале, – это что-то смешное и нелепое, бросающееся в глаза. Рябинин ходил вслед за мною и все твердил мне, «что ему душно, что он ненавидит этикет, что все эти движущиеся куклы, мужские и женские, ему противны»; однако на княжну он поглядывал с особенным чувством. «Хороша, соблазнительна, пышна, на нее и я загляделся, – говорил он, – и как эстетично одета! Она царица бала». Рябинин, восхищающийся княжною и передающий мне свое восхищение, с указательным перстом перед длинным носом, в широких белых лайковых перчатках, был очень забавен среди этой чопорной бальной толпы; но еще забавнее его показалась мне старушка с усиками: она, разукрашенная и подрумяненная, сидела с огромным веером, на котором изображены были Венера и Адонис, и с важностью обвевала им свое личико; в ее тусклых глазах, будто покрытых слюдою, выразалось неудовольствие, – бал явно не удостоился чести ей нравиться, и я только того и ждал, что она без церемонии, при всех, начнет свое ворчание.

– Анастасьев танцует с одной княжной и ни с кем более, – сказал мне Рябинин. – У него вкус недурен.

Я вздрогнул и сейчас же опомнился.

– А где же Анастасьев? – спросил я, – его я и не заметил.

– Вон направо-то: он сидит возле нее и наклонился к плечу ее. А какие у нее плечи! это белизна млечная, роскошь!

Я оставил Рябини́на, продрался сквозь толпу и стал сзади нее.

Княжна беспрестанно улыбалась, нюхая свой букет: видно, Анастасьев нашептывал ей что-нибудь смешное; голова его в самом деле была наклонена к самому плечу ее, и она не думала отодвинуться от него. У меня пробежал мороз по коже, мне было досадно на нее, я готов был наругать ему. Вдруг вижу я, что он преспокойно протягивает руку к ее букету, вырывает из него один цветок и с своим отвратительным хладнокровием продевает его в петлицу своего фрака. Я думал, что княжна рассердится на него за эту дерзость, что же? – нисколько: она после этого была так же спокойна, так же приветливо смотрела на него.

Я уже не мог долее оставаться в зале; куда шел и зачем – не знал, только очутился в саду. Шкалики ярко горели в прямых аллеях, освещая расставленные там симметрически мраморные рожи; горничные бегали и пищали по этим аллеям, да в разных местах стояли крестьянки, смотря вверх на освещенные окна. Мне хотелось быть одному, и я пошел к озеру. Озеро окружено было гирляндю разноцветных фонарей, отражавшихся в спокойных водах его, а за озером господствовала страшная тьма: там уж не заблагорассудили поставить ни одного шкалика. Я отправился было туда, но чуть не стукнулся лбом о дерево и возвратился, усевшись на скамейке в трех шагах от пристани, возле которой стоял ялик. Звуки бальной музыки слышались здесь едва внятно, и мне

стало лучше.

«Чем объяснить дерзкое поведение Анастасьева с княжною? – думал я. – Какое он имеет право так самовольствовать, вырывать из рук ее цветы? Неужели все светские люди такие грубияны и так невежливо обращаются с девушками?.. Неужели все девушки большого света позволяют им это?»

– Насилу нашел тебя! – раздался возле меня голос Рябинина. – Где это ты пропадаешь? Я скажу тебе новость: от нечего делать поймал я какого-то барина, сел с ним играть в экарте и выиграл пятьсот рублей: вот и деньги... Да что с тобой? неужто все время ты просидел в саду, и в такой холод? а там уж и мазурку кончают...

– Поздравляю тебя с выигрышем; да с какими же деньгами играл ты? Ведь у тебя не было денег.

– Не было ни гроша, да зато было предчувствие выиграть, а с таким предчувствием можно всегда играть смело без денег. Полно, – продолжал он, ударяя меня по плечу, – поразвеселись. Не хорошо быть пасмурным. Дай мне твою руку, и пойдем ускоренным шагом; авось пляски скоро кончатся, и нам дадут ужинать.

– Я ужинать не буду: у меня болит голова.

– С тобой каши не сварить. Прощай; иди куда знаешь, а я прозяб и отправляюсь в буфет предохранить себя от сырости.

Я пришел к себе в комнату, бросился на кресла и в каком-то бесчувственном состоянии просидел там, кажется,

около часа, потом вскочил с кресел, как испуганный, и, сам не зная зачем, потащился опять в бальную залу, где танцевали. Ужин кончился. Половина гостей разъехалась, многие уезжали, иные собирались ехать; а в зале была чрезвычайная суматоха. Я искал ее и не находил. Вдруг услышал голос ее, произнесший мое имя... Она стояла в трех шагах от меня, в глубокой амбразуре окна, прислонясь к стене, утомленная, жарко дышащая, с пылающими щеками, с совершенно повисшими локонами, с поблекшим букетом в руке.

– Где вы были? – спросила она меня.

– Я был в своей комнате, княжна.

– Что это значит?

– То, что мне здесь нечего было делать.

– А я вас везде искала, я хотела сама ангажировать вас...

– Я вам благодарен за внимание, но вы и без того слишком устали от танцев.

– Да, это правда, я много танцевала.

– Так вам было весело?

– Очень весело.

Она выронила букет из руки. Я его поднял и отдал ей.

– В этом букете недостает одного цветка, княжна.

– Какого цветка?

– Я видел этот цветок в петле чьего-то фрака...

– А! у меня отнял его Анастасьев: теперь я вспомнила.

Так что же?

– Вы уже забыли об этом? Княжна засмеялась.

– Разве это такое важное событие, чтобы о нем помнить целую вечность?

Я понял всю глупость моего вопроса и смутился. В этот раз княжна не уронила, а бросила букет на пол и еще оттолкнула его от себя ногой.

Я опять поднял его и положил в свой боковой карман. Она посмотрела на меня с величайшим изумлением.

– Для чего вам эти завянувшие цветы?

– Я буду беречь их, как воспоминание об вас.

– Воспоминание? – Она изменилась в лице. – Что это? вы оставляете нас?

– Я должен был бы оставить ваш дом, но я не могу, – у меня неостанется столько твердости.

– Посмотрите, светает, – сказала она, прерывая меня, – как хорош нерешительный свет зачинающегося дня и как неприятно смотреть теперь на эти догорающие свечи, на жалкие остатки бального блеска!.. Ах, вот мисс Дженни! она, верно, ищет меня. До завтра...

Я поклонился ей, долго смотрел на нее удаляющуюся и думал: «Если б она знала, как я люблю ее!»

– Суета сует и всяческая суета! – произнес Рябинин, ухватив меня за руку... – Я подкрепил себя ужином, ты это видишь, ну, а теперь пойдем спать; остальное же все – суета сует!

## XV

8 октября.

Вот месяц, как не принимался я за перо, да и писать не о чем. Три недели, как мы живем в Москве, – говорю мы, потому что я с Рябининым принадлежу также к семейной свите князя. Князь в последнее время сделался к нам еще внимательнее: он так привык к нашим фигурам, что без нас, я уверен, ему было бы скучно; расположение его к нам совершенно искреннее, но оно тяготит меня, мне совестно жить на чужой счет, бог знает для чего; есть чужой хлеб даром. Я списал, по просьбе князя, небольшой акварельный портрет с княжны и ужасно недоволен им, а князь от него в полном восторге. Он показывает его всем знакомым своим – и они, по крайней мере при мне, также приходят в восхищение от моей работы, от моего вкуса и от поразительного сходства этого портрета с оригиналом. В самом деле, сходство есть, но я вовсе не уловил поэзии ее выражения; правда, это и нелегко. Как передать, например, ее глаза, то глубокие и томные, то светящиеся детскою, простодушною радостью? Разумеется, где же этим господам входить в такие тонкости! Отделка хороша, черты лица схвачены – и портрет чудесный. Рябинин тотчас, однако, заметил мне, когда я принес к нему окончанный портрет: «Превосходно! мастерский штрих! но нет этого». Именно, нет «этого»! Он прав.



Портрет не мог быть удачным, потому что, когда я писал его, у меня все вертелся в голове Анастасьев. Кстати о нем: по Москве ходят темные слухи, что он жених ее, что покуда это хранится в тайне и что будто бы такие-то обстоятельства заставили князя отложить поездку в чужие края. Я готов был бы, пожалуй, поверить этим сплетням праздношатающихся светских особ обоюбого пола, но княжна не выйдет же замуж не любя – она, созданная для любви пылкой и бесконечной? К Анастасьеву она просто ничего не чувствует: это увидел я из ее отзывов о нем. Он, если ему угодно, может иметь на нее виды, да ведь ему не удивить и не соблазнить ее своим богатством? Нет, слухам этим верить смешно и глупо! Зачем же он не выходит у меня из головы? Зачем же всякий раз, когда заговорят о княжне и о нем, у меня сжимается сердце? Другой, на моем месте, назвал бы это предчувствием... Скажи мне, друг, не правда ли, верить предчувствиям нелепо? Только люди с раздраженными нервами да женщины верят предчувствиям...

С ней я вижу теперь не так часто; деревенская жизнь не воротится. Мое счастье и спокойствие, кажется, исчезли также невозвратно. Здесь она должна беспрестанно выезжать то в театр, то к своим кузинам и тетушкам, показывать им свою рассеянную лень. Она редко дома. Уже перед нею открывается длинный ряд балов и различных празднеств... И он будет везде перед нею каждый час, каждую минуту. Не отходя от глаз ее, он может ее приучить к себе, далее сде-

латься ее необходимостью, как сделались мы для князя.

И в те минуты, когда он глядит на нее, говорит с ней, наклоняется к ее плечу, как, помнишь, на бале, в те минуты я один лежу на своем диване в мучительном состоянии; тоска медленно, расчетливо впускает в меня свое жало и незаметно высасывает кровь мою. Мне ни за что не хочется приняться, все лежал бы на диване и не глядел бы на свет божий. Только по утрам я учу Ваню рисованию, по ее просьбе. У этого мальчика славные способности. Но я не желаю, чтобы он сделался художником в каком-нибудь роде, да не только художником, хоть сколько-нибудь глубоким человеком. Что за охота страдать и терзаться напрасно страданиями и терзаниями, которые неизвестны другим счастливым, людям умным и практическим?.. Две светлые, отрадные минуты, в которые готов обнять целый мир, – и потом непрерывные годы тьмы, мучений, и жалоб, и проклятий...

Я начинаю опять ссориться с жизнью. Тяжела жизнь!..

Я завидую Рябинину, никогда не унывающему, – или он умеет скрывать свою внутреннюю боль, так что не морщится от нее? Дома его и не ищи: он или проповедует князю о святыне искусства, или играет в карты в Английском клубе и пьет портер, потому что с недавнего времени портер предпочитает другим напиткам. Всякий день также он уверяет меня, что скоро засядет дома и примется за основательное изучение древностей, и в особенности древнегреческого языка...

Вчера княжна ехала куда-то на вечер и перед отъездом прислала за мной Ваню. Ей хотелось, чтобы я посмотрел на нее в полном блеске. Стало быть, она помнит же обо мне, думает обо мне?

## XVI

20 октября.

Она помолвлена. Все поздравляют ее и князя... И мне надобно идти поздравлять их? И я пришел поздравить его. Он спросил меня, не болен ли я? «Нет, я чувствую себя очень хорошо», – отвечал я. Потом он стал говорить мне, что я, верно, вполне извиню его теперь, зная настоящую причину, заставившую отложить его поездку в чужие края; что его будущий зять хотя по наружности кажется человеком холодным, но, несмотря на это, любит искусства и тратит большие деньги в Париже, помогая тамошним художникам и поощряя их деятельность. Мне это необыкновенно приятно; к тому же, очень полезно знать... Я поздравлял и ее, она молча поблагодарила меня с тою приветливостью и грацией, которою удостоивают светские девушки людей простого сословия...

Как же она, созданная для любви пылкой и бесконечной, решилась выйти замуж; за человека, которого не любила? Верно, она пожертвовала собой?.. Да зачем ей приносить такие жертвы? У нее была свободная воля, отец – ее покорный слуга: она могла сделать свободный выбор. Она и сделала свободный выбор. Анастасьев предложил ей себя, и она подала ему свою руку, без всякого размышления, оттого, что пренебречь таким женихом было бы безрассудно, одержать же победу над миллионами славно! Теперь не только москов-

ские грации, но и петербургские, и все даже европейские грации большого света безгрешно могут позавидовать ее участи... Одна только бабушка с усиками, говорят, ворчит и сердится на свою внучку за то, что она не будет ни графиней, ни княгиней: да кто же станет смотреть на эту брызгливую развалину? Она отстала от всего на тысячелетие, она не знает, что в наше время аристократия в деньгах, а не в титулах. Люди нашего времени сделались поумнее того блаженного времени, в которое она расцвела; нам нужна звонкая монета, а не пустозвонные величанья. Деньги и деньги! Рябинин понял жизнь.

Но что же ей, этой княжне, этой глубокой девушке, до общего мнения, до денег, до богатства? Она говорила, что ей нужно море, сливающееся с горизонтом, восхождение солнца; она говорила, что ей вечером на озере с бедным живописцем лучше, нежели в бальной зале; что у нее есть и восторг, и слезы, и молитвы! А бедный, бессмысленный живописец слушал благоговейно ее сладкие речи и малодушно верил этим речам; поставил ее на драгоценный пьедестал и молился ей, и любовь к ней сделалась для него жизнью, необходимостью, высшим счастьем! Вольно же ему было дурачиться, ее благосклонное внимание счесть за любовь, ее рассуждения о литературе, писанные от нечего делать, за средство выказать свою душу, обнаружить стыдливое чувство любви! вольно же ему было жить в несбыточной мечте, окружить себя призраками, таять и блаженствовать от собственных фан-

тазий!..

Ведь не замуж же в самом деле идти за него княжне!..

Да, я, презирая имя мечтателя, мечтал, как сахарный пастушок; я грезил, как помешанный; я окружал себя обманом и ложью до последней минуты; называл догадливость милых и рассудительных людей сплетнями; не внимал благоразумным советам; шел ощупью, закрыв глаза, не зная куда и зачем, и вот – остановился в раздумье на самом краю бездны... Возврата нет. Ну, теперь, без ребяческого трепета, без бабьего ропота кинься в эту бездну!..

А искусство, ты спросишь? а жизнь для искусства?.. Надо сбросить с себя все обманы, отогнать от себя все призраки, разоблачить себя донага, по крайней мере хоть в последние минуты явиться действительным человеком, без всяких пошлых претензий... Друг! если бы я любил искусство, если бы во мне было истинное призвание, я не променял бы его, это святое искусство, на женщину или, забывшись, тотчас бы опомнился и, выйдя с торжеством из заблуждения, обновленный, принялся бы творить, а для меня, ты видишь, искусство – дело второстепенное. Теперь ясно мне, что она была для меня выше искусства, иначе я не был бы убит... Да, я убит! Я не хочу жить, и мне не для чего жить. Если бы я так любил искусство, как ее, я был бы великим творцом.

«Что умирать? я мнил: быть может, жизнь Мне принесет незапные дары; Быть может, посетит меня восторг И творческая ночь и вдохновенье...» Нет, полно!.. Ни творческих

ночей, ни вдохновенья у меня не могло быть... Я становился на ходули, чтобы казаться чем-нибудь; две картины мои удались и понравились – довольно... Бросай кисти и палитру. Мне ничего не нужно, ничего!..

22 октября.

Остается десять дней до ее свадьбы. Я сказался больным и никуда не выхожу... Рябинин приходит ко мне и говорит много, кажется, все в утешение мне; я ничего не могу слушать. Пусть будет она счастлива. О, я желаю ей счастья от всего моего сердца!.. Обними меня и прости меня. Мы уж с тобой не увидимся!

## XVII

Однажды утром, в те часы, когда в доме князя обыкновенно все покоится сном сладчайшим, горничная княжны, бледная как смерть, вошла на цыпочках в ее спальню, едва прикасаясь ногами к ковру. Там, в этой спальне, еще не рассветало: темно-зеленые шелковые шторы были опущены. Княжна, разумеется, почивала. С осторожностью подошла горничная к ее постели, отдернула шелковую занавеску и тихонько, не вдруг разбудила ее, чтобы не испугать...

Княжна полуоткрыла глаза и, не отнимая головы от подушки, в полусне невнятно спросила у нее:

– Что тебе надобно? который час?

– Еще очень рано, сударыня, – отвечала горничная, – но я беспокою вас, потому что у нас в доме случилось несчастье...

– Какое несчастье?

Княжна отняла от подушки свою голову...

– Сегодня ночью г. Средневский, живописец... Княжна совсем открыла глаза...

– Что такое? что с ним?

– Он застрелился, сударыня.

Княжна, дрожа всем телом, вскочила с постели, схватила горничную за руку и посмотрела ей пристально в лицо.

– Ты с ума сошла? застрелился? Кто тебе сказал это?



– Мне, ваше сиятельство, сказал человек Григорий, который ходил за ним, – отвечала горничная, немного смешавшись. – Еще об этом не знают, сударыня. Еще все спят в доме, кроме этого человека.

– Точно ли ты уверена, Маша? Поди, беги скорей, скажи, чтобы он не делал покуда никакой тревоги в доме...

Горничная произнесла «слушаю», повернулась и хотела бежать, но княжна остановила ее.

– Маша, могу ли я так пройти в его комнаты, чтобы никто не мог меня видеть, никто не знал, что я была там? Слышишь ли, никто?..

– Я сию секунду узнаю об этом, княжна.

– Беги же, беги, Маша, скорей, ради бога, скорей!.. Когда горничная выбежала, княжна оперлась рукою о стол; глаза ее остановились; казалось, она замерла, холодная, как мрамор.

Минут через десять горничная вернулась...

– Ваше сиятельство, все готово: я взяла ключ от горниц живописца и крепко – накрепко заказала Григорью молчать об этом несчастье (она вздохнула); только вам надобно идти, сударыня, по черной лестнице и пройти темным коридором внизу...

Княжна ожила.

– Все равно; пожалуй, я надену твое платье, чтобы меня не узнали...

– Нет-с, этого не нужно, помилуйте-с; вас никто не увидит, я провожу вас.

– Ты проводи меня только до дверей его комнат и подожди в коридоре... Да слышишь ли, Маша, чтоб об этом никто не знал!..

– Ах, помилуйте, сударыня! да за кого же вы меня принимаете?..

Княжна кой-как надела свой пеньюар, кой-как пригладила свои волосы, накинула на голову старую шаль и сказала горничной: «Я готова, я иду за тобою...» Голос и губы ее дрожали.

По узкой лестнице спустились они вниз, прошли длинный и темный коридор... В конце его горничная остановилась у двери...

– Ключ! – прошептала княжна.

Она едва могла вложить его в замочную скважину, – так руки ее дрожали; дверь отперлась; горничная осталась у двери...

Страшно было посмотреть на княжну в эту минуту. Едва дыша, полумертвая, с посинелыми губами, она прошла мастерскую и остановилась в его кабинете у бюро... Схватив связку ключей, лежавших на этом бюро, она отворила ящик, – в ящике ничего не было; она отворила другой – и в другом ничего; вдруг схватила она с жадностью связку почтовых листков, мелко исписанных, на которых лежал засохший букет цветов. И букет, и бумажки она спрятала к себе на грудь и повернулась, чтобы выйти... Он лежал перед нею на кушетке. Она застонала, схватила себя за грудь, но сила

воли спасла ее, победила боль и изнеможение – и она, шатаясь, вышла в коридор.

Возвратясь в свою спальню, она сказала горничной едва слышно:

– Разведи огонь в камине, в той комнате... Мне холодно.

Огонь был разведен.

– Теперь ты не нужна мне; я позвоню...

– Как же мне выйти? вам дурно, сударыня.

– Нет, ничего, поди.

Княжна бросилась на пате, против камина, потом приподнялась, обвела головой вокруг, вынула письма и засохшие цветы и начала их рассматривать.

– Да, это мои письма... – прошептала она, – это мой букет... Неужели так любят?

Княжна привстала еще раз, посмотрела на эти письма и на этот букет и бросила их в огонь. Пламя в минуту охватило их; она вздрогнула, закричала, закрыла лицо руками и упала без чувств...

Около полудня началась тревога в доме князя. Князь был сильно поражен самоубийством живописца. Такое необычайное происшествие привело его в ужасное расстройство. В волнении, в беспокойстве ходил он по комнате, а старушка с усиками ворчала:

– Моя правда, князь! Разве я не твердила вам, что вы принимаете к себе бог знает каких людей и откуда? не по-моему вышло, что ли? Слыхано ли, нанести такое оскорбление бла-

городному дому за хлеб-соль и ласку!.. Неблагодарный мальчишка! И я всегда видела в его лице что-то неестественное, дикое...

Безбожник какой! застрелиться! Видишь ли что вздумал!.. Да хоть бы где-нибудь в поле, а то в княжеском доме, покорно прошу!

Рябинин, сидя в своей комнате с нахмуренным челом, поднимал глаза в потолок и твердил: «Странно!..»

Один Ваня, сын дворецкого, плакал горько и неутешно, узнав о смерти своего рисовального учителя...

Между тем полиция и доктора хлопотали внизу. Осмотрев труп и рану, доктора решили, что живописец лишил себя жизни в припадке белой горячки (delirium).

Через неделю после этой тревоги, часу в девятом вечера, несколько экипажей стояло близ ярко освещенного подъезда княжеского дома. Двери подъезда были отворены, в дверях стоял изукрашенный швейцар с огромною булавою. На тротуаре у ворот и около решетки толпились в каком-то ожидании различные женщины в шляпках и без шляпок и с платками на голове. Около них, при таком удобном случае, увивались господа с усиками и в венгерках... Карета, запряженная превосходными серыми рысаками, двинулась к подъезду... «Вот невеста поедет в этой карете», – говорили женщины, стоявшие на тротуаре. «Ах, как бы ее увидеть! Вот, я думаю, нарядная-то!» – «Позвольте, сударыня, я приподниму вас, когда она поедет, чтобы вы ее могли обозреть», – сказал

один франт в венгерке, расправляя свои усики и обратясь к той, которая была помиловиднее прочих. «Не просят вас беспокоиться...»

В это время по широкому ковру лестницы, уставленной деревьями, тянулась блестящая свадебная процессия... Впереди бежали шаферы в раззолоченных мундирах; за ними шел маленький паж, двоюродный брат княжны, с образом в руках... За ним она, прекрасная как всегда, вся в белом, вся в цветах померанца, с длинным блондовым вуалем на голове, который живописно спускался назад; с блестящим шифром на левом плече... За нею шла бабушка с усиками, нарумяненная, с шевелящимися губами... А там вся эта великолепная и раздушенная толпа девиц и дам... Рябинин стоял в стороне на последних ступенях лестницы. Когда княжна проходила мимо его, он приподнял свои длинные руки, поклонился ей и сказал: «Княжна, сегодня вы ослепительны!» И княжна приветливо улыбнулась на это восторженное поэтическое приветствие.

Поезд двинулся...

В одно утро, несколько дней спустя после свадьбы дочери, князь разговаривал с Рябининым в своем кабинете.

– Надобно, – говорил князь, – чтобы рисунки, которые приложатся к нашим путевым запискам, были превосходны, а для этого требуется художник в полном смысле слова.

– Об этом не беспокойтесь, князь, – я друг со всеми лучшими нашими художниками; я сыщу вам человека. Он будет

понадежнее этого Средневского.

– Но скажите, – спросил князь, подходя к Рябинину, – отчего же у него вдруг сделалась белая горячка?

– Позвольте ли вы мне говорить с вами откровенно, просто, без чинов?

– Пожалуйста, я прошу вас.

– В нем эта горячка таилась давно... Он, сумасброд, вздумал влюбиться – шутка ли? в дочь вашу!

– В мою дочь? – Князь вытаращил глаза от удивления.

– Именно в нее!

Минуты через две, придя в себя, князь произнес:

– Если это и так, мне все-таки жаль его!

– Да, жаль; жаль как человека, но не жаль как художника.

Если бы он был умен и слушался моих советов, правда, он пошел бы в гору, но до самой вершины, где облака, он никогда бы не дошел. Вначале я ободрял его сильно, давал ему ход, кричал о нем, как о великой надежде... У меня метода, князь, только что увижу искру таланта в человеке, я начну холить и лелеять этого человека и раздувать в нем эту божью искру. Не удалось мне возжечь в груди его пламя, – не моя вина. Я не люблю немцев, вы это знаете, а немец Гофман сказал верно, «что живое, внешнее побуждение многие принимают за истинное призвание к искусству». Наш живописец был из числа этих многих...